

Карина  Демина

Хозяйка Серых земель.
Капкан на волкодлака



**Все, что ни делается, — к лучшему.
Просто не всегда к вашему.**

Annotation

Вновь в Познаньске неспокойно. Повисла над городом колдовкина полная луна, и, зову ее покорный, вышел на улицы зверь-волкодлак. А следом и колдовкиным духом потянуло. Что надобно ей, Хозяйке Серых земель, в Познаньске? Кому, как не старшему актору королевской полиции Себастьяну, сие выяснять, конечно, ежели сам актер в живых останется. Заодно уж пусть разберется со странными делами, что творятся в благочинном семействе князей Вевельских, в тайнах ведьмачьего прошлого и иных, несомненно прелюбопытных, вещах.

Карина Демина

Хозяйка Серых земель. Капкан на волкодлака

Глава 1, в которой Себастьян Вевельский делает предложение руки и сердца, но получает категорический отказ

Все, что ни делается, – к лучшему. Просто не всегда к вашему.

Частное мнение пана Грабовски, практикующего медикуса, человека в высшей степени благообразного и, что немало, состоятельного

Ночь была на диво хороша. В меру темна, в меру тепла. Маслянисто поблескивала полная луна, стрекотали сверчки, пахли розы... Баронесса Эльвира Чеснецка, третья и единственная оставшаяся незамужней дочь барона Чеснецкого, розы весьма любила. Во многом любовь сия происходила от того, что некий студиозус, обезумев от любви, не иначе, сложил сонет в честь Чеснецкой розы, и титул этот, пусть и не означенный ни в одном из геральдических справочников, Эльвире пришелся весьма по сердцу.

В отличие от студиозуса.

Нет, она вознаградила его за старания милой улыбкой и поцелуем, последним не без умысла – Элечка собиралась в Познаньск, где не хотела показаться провинциальной глупой девкой, которая и целоваться-то толком не умеет.

Вот и потренировалась.

На студиозусах тренироваться всяк удобней, нежели на кошках.

Как бы там ни было, история та случилась в далеком прошлом, памятью о котором остался девичий альбом со злосчастливым сонетом, писанным красными чернилами – а врал, будто бы кровью! – да Эльвирина страсть к розам.

Розы окружали ее.

И не только в саду, где они росли, постепенно вытесняя прочие растения. Нет, розы были повсюду. Роскошные золотые цветы распускались на обоях и гардинах, на обивке кресел, козеток, диванов и диванчиков. На коврах и дорожках. На зеркалах. На посуде... и даже ночная ваза Эльвиры была украшена золотыми розами.

Что уж говорить о нарядах?

Элечка вздохнула.

Розам свойственно увядать, а она... она, пожалуй, заигралась... были кавалеры, признавались в любви. Говорили о том, что бросят к Элечкиным ногам весь мир... куда подевались?

Сестры злословят, что, мол, сама виновата... чересчур горда была.

А ведь казалось, что жизнь только-только начинается. И куда ей замуж? В шестнадцать-то лет... и в семнадцать... и вот уж двадцать три, старость не за горами, а где женихи?

Исчезли.

Не все, конечно. Папенька за Эльвирой хорошее приданое положил, вот только... на приданое или красавцы молодые без гроша за душой слетаются, уверенные, будто Эльвира

любви их неискренней рада будет, или старичье, которому деньги без надобности...

Не то все, не так... но ничего, даст Иржена-милосердница, все у нее сладится. Ныне же вечером сладится.

С этой, несомненно успокаивающей, мыслью Эльвира устроилась перед зеркалом.

А все ж хороша.

И не та, не девичья красота, но все же... лицо округлое, с чертами мягкими, пожалуй, чересчур уж мягкими. Но кожа бела. Глаза велики, а подведенные умело и вовсе огромными кажутся. И что до того, что появились в уголках их морщинки?

Губы бантиком.

На щеках слабый румянец...

Шея длинная. Волос темный по плечам разметался, будто бы в беспорядке...

Эльвира взяла хрустальный флакон. Капля розового масла на запястья. И другая – на шею. Не переборщить бы... впрочем, она уже давно освоила сию науку и с запахами обращалась столь же свободно, сколь и с красками... румянец вот идеального оттенка вышел.

Соловей смолк, видать, притомился. Зато сверчки застрекотали, действуя на нервы... время-то позднее... третий час... а он все не идет и не идет...

Обещался ведь!

И Эльвира готовилась... папенька ждет... и братья... главное, чтоб ожидание это, которое затягивается несколько, не решили они скрасить игрой да выпивкой. Папенька-то меру знает, а вот за братьев Эльвира не поручилась бы.

И послать бы горничную, чтоб проверила, да... нельзя. Девка, конечно, служит давно, но все одно нету веры прислуге, тут обидится, там денег предложат... а то и просто по глупости разболтается.

Нет уж.

Все самой надобно, а Эльвире из комнаты не уйти. Да что там комната, окошко и то не прикроешь, хотя тянет оттуда сыростью...

Эльвира зябко повела плечами, прелестно обнаженными, и набросила-таки на них белоснежную шаль, расшитую золотыми розами.

Этак и вовсе околеть можно, в тоненькой ночной рубашке, которая не рубашка – название одно...

– Эля! – раздался свистящий шепот, когда она уже почти решилась выйти из комнаты: следовало сказать папеньке, что сегодняшней план не удался. – Эля, ты тут?

– А где мне быть? – не сдержала раздражения Эльвира.

Но тут же себя одернула: не время для ссор.

Сердце сжалось от нехорошего предчувствия, и Эльвира поспешила себя успокоить: все пройдет замечательно. Себастьян пришел.

Как приходил вчера.

Позавчера.

И весь этот месяц...

Сейчас подхватит на руки, закружит, скажет, какая Эльвира ныне красивая... или еще что-нибудь этакое. Язык у него хорошо подвешен... а после к кровати понесет... и там останется потянуть за ленточку... колокольчик зазвенит, призывая папеньку с братьями...

Себастьян Вевельский тяжело перевалился через подоконник.

Что это с ним?

Прежде взлетал легко по виноградным лозам, шутил только, что каждый вечер

совершает подвиг ради прекрасной дамы...

– Элечка! – Он встал на колени и протянул руки.

Пахнет от него... дурно пахнет.

Выпил, что ли?

Нет, не перегаром вовсе, запах перегара Элечке распрекрасно знаком. Тут иное... дым? И будто бы сточная канава... и... и одежда в грязи... да что это за одежда?!

– Элечка, у нас мало времени. – Себастьян вытащил мятый клетчатый платок, которым отер лицо.

Пиджачишко серый, двубортный. Лацканы лоснятся, рукава и вовсе затерты безбожно. И главное, что в плечах пиджачишко этот тесен, рукава коротковаты, а из них пузырями серыми рукава рубахи выступают.

Штаны пузырями.

На шее желтый платок кривым узлом повязан, а под мышкой Себушка котелок держит.

– Себушка... – Элечка закрыла глаза, втайне надеясь, что престранный князев наряд ей примерещился, скажем, спросонья. Но когда она глаза открыла, ничего не изменилось.

Распахнутое настезь окно.

Луна желтая.

Сладкий аромат роз... соловей и тот очнулся, защebetал о своей, птичьей, любви. Но сейчас трели его, прежде казавшиеся уместными – даром, что ли, Эльвира самолично в саду место для клетки искала? – действовали на нервы.

Не исчез и престранный костюм, который удивительным образом подчеркивал некоторую нескладность Себастьяновой фигуры.

– Что случилось?! – осторожно поинтересовалась Эльвира, обходя потенциального мужа.

А в нынешнем наряде он какой-то... жалкий.

И спину горбит... или не горбит? Поговаривали, что в прежние-то времена с горбом натуральнейшим ходил, а после выправили... и видать, не до конца... а еще плечо левое ниже правого... странно, в постели оба плеча были одинаковы.

Или Элечка просто на плечи внимания не обращала?

Себастьян взмахнул ресницами и сказал:

– Выходи за меня замуж!

Это она, конечно, с радостью, но...

...он был хорошим любовником. Пожалуй, лучшим из тех, с которыми Элечку сводила судьба, вот только не чувствовала она в нем желания связать жизнь с нею, да и вовсе готовности к женитьбе. А потому сие неожиданное предложение, каковое должно было бы порадовать, донельзя встревожило Эльвиру.

– Выходи! – повторил Себ и, затолкав несчастный платок в рукав, вытащил колечко. – Вот! Это для тебя... сам выбирал!

– Спасибо, но...

Папенька ждет.

И братья, если, конечно, не сильно набрались... выпить-то они много могут и на ногах держатся долго, только вот способность здраво мыслить теряют. Впрочем, эта способность у них и в трезвом состоянии нечасто проявляется.

– Выйдешь? – меж тем поинтересовался Себастьян Вевельский, и такая надежда в его голосе прозвучала, что Эльвире стало неловко.

Выйдет.

Наверное. Колечко она приняла и мысленно скривилась: оскорбительная простота! Не золотое. И не платиновое... серебро?

Не похоже на серебро.

Зато с камнем зеленым, крупным. Слишком уж крупным для того, чтобы быть настоящим.

– Что это? – севшим голосом поинтересовалась Эльвира и ногтем по камню постучала.

– Синенький. Как твои глаза, – сказал Себастьян и широко улыбнулся. – Прости, Элечка, но некогда разговаривать... я тебя люблю!

– И я тебя. – Эльвира покосилась на камень.

Зеленый. Определенно зеленый. А глаза у нее и вовсе серые... и если Себастьяну они синими казались, то, стало быть, он и цвета не различает. Нет, конечно, сие недостаток малый, несущественный можно сказать, но в сочетании с иными...

– Я знал! – с пылом воскликнул Себастьян, прижимая руки к груди, отчего пиджачишко опасно натянулся, затрещал. – Знал, что ты от меня не отвернешься! Собирай вещи. Мы уезжаем.

– Куда?

– Туда. – Себастьян ткнул пальцем в открытое окно. – А потом дальше. Бери самое необходимое...

– Стой. – Эльвира положила кольцо на туалетный столик и глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. – Объясни, пожалуйста, что происходит. Зачем нам бежать. И встань наконец!

Голос подвел, сорвался.

Себастьян поднялся, как-то неловко, боком.

– Прости, Элечка... такое дело... папенька вновь проигрался крепко... скандалить начал... в кабаке... с обвинениями полез... драку устроил... он норова буйного...

Эльвира осторожно кивнула: понимает. Ее собственный батюшка тоже горазд приключения искать. А братья в него пошли, чем батюшка немало гордится, не разумея, что от фамильного этого характера одни беды... помнится, в прошлом-то годе, когда Зденек в кабаке пляски пьяные учинил, а после к купцам привязался, едва до суда дело не дошло...

– Кто ж знал, что его величество там будут, – с тяжким вздохом продолжил Себастьян. – А отец позволил себе... некоторые неосторожные высказывания...

Нехорошо... Одно дело – купцы, люди второго сословия, и совсем другое – король...

– И... что теперь? – Эльвира подняла колечко, мысленно прощаясь и с ним, и с Себастьяном.

– Меня предупредили...

Себастьян опустил голову.

– Батюшку арестуют... не за пьяную драку, конечно. В злоумышлении против государя обвинят...

...серьезно.

...и если вину докажут, а при желании доказать ее не так и сложно, то грозит Тадеушу Вевельскому плаха, а семейству его – разорение...

– Сестрам моим – или в монастырь, или оженят по государевой воле. А нам с братьями – на границу путь-дорожка... вот я и подумал... чего мне тут терять-то? Уеду я... подамся на Север.

– К-куда?

– На Север, – с чувством глубокого удовлетворения повторил Себастьян. И, оказавшись рядом, приобнял. – Вот представь только, Элочка...

Представлять ей не хотелось совершенно.

От Себастьяна пахло прокисшим пивом, дешевой кельнской водой, которой, помнится, папенькин конюх пользовался, а еще потом. И Элочке подумалось, что ныне эта преотвратная смесь запахов будет сопровождать ненаследного князя по жизни...

– Снега... кругом снега! Налево посмотришь – снега! Направо – сугробы! Вперед – сколь глаз видит, даль белоснежная! Позади...

– Снега, – мрачно произнесла Эльвира.

Думалось ей вовсе не о снегах, но о том, не пропитается ли ее льняная рубаха сими мерзкими запахами.

– Точно! – восхитился Себастьян. – Неистовая белизна и чистота! Мы в прошлом годе саамца одного взяли... тот еще прохвост. Представлялся шаманом, амулеты вечной жизни продавал. Хорошо шли... так он красиво про родину свою баял... мне еще тогда поехать захотелось.

– Так езжали бы...

– Так не мог. Работа... а сейчас вот... я уж и собак купил.

– Зачем?

– Для упряжки. – Себастьян погладил Эльвиру по голове. – Там без собачьей упряжки никак... поставим юрту на берегу реки... или сразу дом? Простенький, маленький, чтоб только для нас... ты и я... я буду нерп бить и на медведей охотиться...

– К-каких м-медведей?

– Белых, вестимо. Еще на волков. Волки там, говорят, зело свирепые и умные. Но ты не бойся. Я хорошо стреляю... шкуры станем выделывать.

– Я не умею.

– Научишься. – Себастьян смотрел прямо в глаза и улыбался счастливой улыбкой абсолютно безумного человека. – Небось нехитрое дело... а хочешь, оленей стадо заведем.

– З-зачем?

– Ну... олени – это и мясо, и молоко... или ты доить тоже не умеешь?

Эльвира подумала и покачала головой.

– Еще их чесать можно. Из оленьего пуха вяжут удивительно теплые носки!

Он сошел с ума.

Или она?

И если это все-таки сон, то на редкость бредовый. Эльвира тайком ущипнула себя за руку и вынуждена была признать, что происходящее как нельзя более реально.

– Представь, – меж тем продолжал Себастьян, – наш маленький дом над бурной рекой...

...воображение Эльвиры мигом нарисовало и реку, и покосившуюся хижину на берегу ее... а еще стадо нечесаных оленей, из шерсти которых ей предстояло связать несколько дюжин носков.

– Тихую обитель вдали ото всех... жизнь на лоне природы... преисполненную опасностей и невзгод...

...белых медведей.

...волков.

...и нерп, которых Себастьян станет свежевать на заднем дворе.

– Нам они по плечу... наши дети вырастут в настоящем мире, где нет зависти и злобы...

...а также водопровода, доктора или хотя бы аптекарской лавки на мили вокруг.

– Наши души очистятся от смога цивилизации, станут чисты и прекрасны...

...разве что только души.

Тело Эльвиры, которое было ей куда дороже души, требовало серьезного ухода.

– Послушай, – перебила она Себастьяна. – Мне очень жаль, но... у нас не получится.

– Думаешь, мне не стать охотником? Ладно. Мы можем заняться золотом... слышала, там золото на каждом шагу?!

Слышала. Об этом многие газеты писали, как и о том, что на одного разбогатевшего старателя приходится две сотни безвестно сгинувших.

– Нет, Себастьян. – Эльвира высвободилась из объятий и с раздражением смахнула листик, прилипший к белой ее рубашке. – У нас ничего не выйдет. У тебя... у тебя, быть может, и получится...

Не разочаровывать же его с ходу!

Пусть уезжает.

К медведям, нерпам и золоту. Пусть строит свой дом... а Эльвира... она подыщет себе другого мужа... в конце концов, зря, что ли, привечала графа Бойдуцкого? Ему, правда, под семьдесят... зато богат.

И главное, что королю угоден.

– Я поняла... – Эльвира сделала глубокий вдох. Все-таки она была сердобольной женщиной и, отказывая очередному искателю ее руки и капиталов, испытывала некоторую печаль. Правда, длилась она печаль недолго, но неудобства доставляла. – Я поняла, Себастьян, что мы с тобой слишком разные.

Она взяла кольцо.

– Мне жаль, но... я не могу уехать... бросить отца, братьев... матушку больную...

...болела она давно, с немалым удовольствием, которое, впрочем, умело скрывала и от докторов, и от супруга, свято верившего, что жена его пребывает едва ли не на смертном одре.

– Да и подобная жизнь не по мне... я...

– Элечка... – Себастьян упал на колени.

– Нет. Послушай. Я уверена, что ты найдешь другую женщину... ту, которая поймет и примет тебя... и разделит все трудности...

– А ты?

– А у меня свой путь, – решительно произнесла Эльвира. – Я буду помнить о тебе... а теперь уходи!

Она сунула кольцо в его руку.

– Но как же ты... я ведь...

– Как-нибудь. Я справлюсь.

В конечном итоге это не первый любовник и не первое расставание.

– Элечка...

– Уходи, – жестче произнесла она. – Пока нас кто-нибудь не увидел...

...например, батюшка, которому должно было бы надоесть ожидание... или братья... или еще кто... не хватало, чтобы слухи пошли... а то и вовсе родственники, которые в питии порой теряли меру, исполняют первоначальный план...

– Уходи, уходи. – Эльвира подтолкнула несостоявшегося супруга к окну. – Ты же не хочешь, чтобы обо мне нехорошие слухи пошли?

– А поцеловать?

Целовать Себастьяна ей не хотелось совершенно. Она коснулась ледяными губами щеки.

– Я буду помнить о тебе! – сказал он.

– Я тоже, – соврала Эльвира и, дождавшись, когда ненаследный князь исчезнет в оконном проеме, выдохнула с немалым облегчением.

Вот уж верно сказано: поспешишь...

Эльвира присела перед зеркалом... нет, надобно брать графа... конечно, ходят слухи, что в свои семьдесят он весьма по мужской части активен... но и лучше, меньше проживет... а вдовой быть не стыдно...

Дверь открылась без стука:

– А кто тут?! – Пьяный батюшкин бас перекрыл соловьиное пение.

Эльвира и сама пуховку выронила.

– Никого, батюшка...

– Элечка, ты одна? – Барон Чеснецкий покачнулся, но на ногах устоял.

– Одна, батюшка...

– Сбег?

– Он нам не нужен.

– А... – Барон хотел спросить, отчего вдруг случилась столь резкая перемена, но передумал.

Во-первых, на грудь он принял изрядно, а потому в голове шумело, и шум этот мешал должным образом вникнуть в объяснения. Во-вторых, избранник дочери ему не нравился. А в-третьих, князю зверски хотелось спать.

– Не нужен, – с нажимом повторила Эльвира, проводя по волосам щеткой.

– Ну... – Барон понял, что должен изречь что-то глубокомысленное, этакое, но не знал, что именно. – Затогда ладно... пушай... а ежели чего... то мы его того! Во!

Во устрашение беглого жениха он стукнул кулаком по каминной полке, которая хрустнула.

– Ах, папенька. – Эльвира вымученно улыбнулась: спорить с папенькой не имело смысла. С другой стороны, управлять им было легко. – Отчего мне так не везет-то?

Папенька лишь крякнул и вновь по полке кулаком шибанул, избавляясь от эмоций, выразить которые иным способом он не был способен.

– Так это... того, – ласково произнес барон, за дочь свою, излишне разумную, переживавший вполне искренне. И пускай не по нраву ему был выбранный Элечкой жених, но смирился бы.

Принял бы как родного.

А глядишь, лет через пару... или не лет, но бочек семейной настойки, каковую готовили по древнему рецепту – по слухам, именно благодаря ему Чеснецкие и вышли в бароны, а потому рецепт оный берегли крепко, – и сроднились бы...

– Ты только словечко скажи. – Он дыхнул Элечке в шею перегаром.

И та покачала головой: оно верно, стоит слово сказать, и батюшка Себастьяна за хвост к алтарю приволочет, а братья помогут, да только... что с того? Не ехать же и вправду к светлой жизни на лоне природы?

Нет, на подобные подвиги Эльвира Чеснецка готова не была.

– Нет, батюшка, не надо. – Она взмахнула ресницами. – Ты прав был всецело. Не тот он человек, который нам нужен... не тот...

А может, поискать кого похожего на батюшку? Сильного и не особо умного?

Папенька там про какого-то своего приятеля сказывал... граф-то никуда не денется, а на приятеля этого можно глянуть... если, конечно, он не мечтает отбыть на край мира оленей пасти... или медведей стрелять.

– Ты у меня такой сильный... и что бы я без твоей защиты делала?

Барон лишь крякнул.

Дочь он любил, как и прочих своих детей. И за них не то что князю, королю бы рыло начистить не побоялся. Впрочем, мысль сия была крамольной и даже во хмелю барон осознавал это, а потому прогнал прочь. Благо его величество поводов для баронского гнева не давал...

– Ниче, Элька, будешь ты у меня княжной. – Он ободряюще похлопал дочь по плечу, как по мнению барона, чересчур уж узенькому, тощему. Сам-то он предпочитал женщин солидных, в теле и нынешней моды на тщедушных красавиц не разумел. Но раз уж дочери хотелось голодом себя морить, то пушай. А что до обещания, то даром, что ли, молодой Дагомысл Ружайский, который не столь уж и молод, но ума невеликого, в грудь себя бил, что любого перепить способный... и еще спор предлагал...

В хмельной голове мысли заворочались быстро, причиняя барону едва ли не физическое неудобство. Его аж замутило слегка, но Вотан не дал перед дочерью опозориться.

– Станешь княжной. Чтоб мне век бутылки не видать!

Клятва была серьезна.

И следует сказать, что обещание свое он сдержал. Месяца не прошло, как Чеснецка роза переехала в ружайский розарий. К слову, победа эта далась барону нелегко, и к зятю он проникся великим уважением, которое выказывал громко, искренне, добавляя, что крепка княжья кровь.

А баронская – и того крепче.

Эльвира предпочитала помалкивать...

Ненаследный князь с легкостью перемахнул через витую ограду. Она, с коваными розами и стрелами, была красива, но и только.

Впрочем, Бяла улица Познаньска являла собой место тихое, спокойное. Преступления здесь случались редко.

Себастьян потянулся, подпрыгнул на месте и, поморщившись, сел на мостовую. Он стянул неудобные штиблеты, купленные, как и костюм, в лавке старьевщика, и с немалым наслаждением пошевелил пальцами.

– Жмут, – пожаловался он.

И, сняв носок, пощупал мизинец.

– Мозоль натер... это ж надо...

– А я, между прочим, говорил, что так и будет. – Темная фигура отделилась от могучего платана.

– Накаркали, ваше высочество.

Мизинец в лунном свете был бел и мал, и красная бляха свежего мозоля бросалась в глаза. Себастьян с кряхтеньем подтянул ступню к лицу и подул на пострадавший палец.

– Я не каркал. Было очевидно, что туфли тебе малы.

– Зато какой фасон! – Сдаваться Себастьян не привык, хотя ноющие пальцы свидетельствовали в пользу королевича. И ворчливо добавил: – С тебя двадцать злотней.

– Начинаю разочаровываться в женщинах. – Проигрыш его высочество не огорчил.

– Только начинаешь?

Королевич не ответил, но присел на мостовую, которая была довольно-таки чиста, и отсчитал двадцать золотых монет. Потянулся. Вдохнул свежий, напоенный ароматом роз воздух.

– Хорошо-то как...

Пел соловей. И круглая луна опустилась еще ниже, дразня маслянистым блескучим боком. Себастьян снял желтый платок и пиджачишко стянул, оставшись в мятой рубашке.

– Слушай, – королевич первым нарушил молчание, – а если бы она согласилась бежать?

– К саамам?

– К ним... вдруг бы и вправду любила?

– Ну... побежали бы. Мне тут отпуска обещались дать две недели, хватило бы, чтоб прогуляться... вагон третьего класса. Гостиницы... ты когда-нибудь останавливался в привокзальных гостиницах?

Матеуш пожал плечами – этаких конфузов с ним не случилось. Нет, ему доводилось путешествовать, но сии путешествия, как правило, происходили в королевском поезде, где помимо спальных вагонов, нескольких гостиных, библиотеки и столовой имелись купальни, игровой салон и иные, несомненно, важные в путешествии вещи.

О привокзальных гостиницах он имел представление весьма туманное.

– Клопы, блохи... поезда... не знаю, что раздражает сильнее... я как-то жил три месяца... искали одного... клиента, который по оным гостиницам отирался. Жертв выглядывал... так, бывало, чуть заснешь, а за стенкой песню начнут... или поезд какой прибудет...

Себастьян вздохнул, воспоминания эти вызвали внеочередной приступ ностальгии, от которой стало тяжело в груди и спина засвербела. Он даже наклонился, прижался к могучему стволу вяза и почесался.

– А если бы... – не оставил свое королевич.

– Если бы не сбежала за две недели? – Себастьян чесался о вяз, но зуд не стихал. Напротив, с каждой секундой он креп, будто под кожу Себастьяну сыпанули крошек.

Что это с ним?

– Тогда б я признался.

Он встал и, стащив рубашку, позволил крыльям появиться.

Стало легче. Немного.

– И, если бы она меня не убила, женился б не глядя.

– Ты ее не любишь.

– И что? Ты вон любишь, а толку-то...

Не следовало заговаривать на эту тему, поскольку Матеуш разом помрачнел, видать вспомнив и о невесте своей, которая, того и гляди, с посольством заявится, чтобы раз и навсегда положить конец привольной жизни королевича, и о Тиане Белопольской... с нею его высочество не был готов расстаться. Упрямство его донельзя огорчало что матушку, проникшуюся к Тиане искренней нелюбовью, что отца, куда более благорасположенного, но тем не менее в первую очередь заботившегося о благе государственном. А Тиана с ее козой этому благу грозила воспрепятствовать.

Королевские проблемы Матеуша угнетали, ввергая в бездну тоски. А в перспективе и вовсе ссылкой грозились.

От печальных мыслей, как это случалось во все прежние дни, вновь отвлек Себастьян:

– Слушай, Матеуш, у тебя с собой ножа нет?

– Ножа? – Королевич явно удивился. Нож у него был. И даже два. Метательные, спрятанные в рукавах. Один с ядом, другой – с проклятием смертельным.

– Кортика. Шпаги, на худой конец. Чего-нибудь...

– А тебе зачем?

– Почесаться...

Ножи Матеуш оставил при себе, князь, конечно, из метаморфов, так и королевские ведьмаки с алхимиками вкупе не даром хлеб едят.

А Себастьяну становилось хуже.

На коже проступала чешуя, и Себастьян с удивлением осознал, что не способен контролировать это превращение. Да и зуд не стихал.

Королевич же молча протянул стилет с королевским гербом на рукояти. Трехгранный клинок был узким и в достаточной мере острым, чтобы ощущать его через плотную чешую.

– А плечи почешешь?

– А больше тебе ничего не надо? – с подозрением осведомился его высочество.

– Еще спинку... не дотянусь...

Пробившиеся клыки делали речь невнятной, и Себастьян замолчал.

Приворотное?

Он ничего не пил и не ел, да и Эльвира не похожа на тех дурочек, которые с приворотами балуются... она выглядела такой очаровательно милой. Серьезной. И Себастьяну весьма импонировала ее целеустремленность...

Но все-таки...

Спина чесалась.

И крылья.

И даже хвост, который нервно елозил по мостовой, оставляя на камне длинные царапины. Себ испытывал преогромное желание упасть на землю, покататься...

Не хватало еще.

Навоз тут, конечно, убирают, но все ж не дело это, цельному ненаследному князю на земле валяться. Только подумал, как зуд исчез. А с ним и чешуя. Крылья же безвольно обвисли, и королевский кортик из руки выпал.

– И что это было? – осведомился Матеуш, кортик подбирая.

– Понятия не имею, – честно признал Себастьян. – Но... полагаю, пока не разберусь, нам лучше не встречаться. А то мало ли...

Луна ухмылялась.

И в желтоватом свете ее лицо королевича сделалось еще более некрасивым. Матеуш скривился, точно собираясь расплакаться, но все ж сдержанно кивнул:

– Спасибо.

– Та не за что. – Себастьян неловко поднялся. Им овладела престранная слабость. Неимоверно хотелось спать, можно – прямо здесь, у корней дерева... Он потрянул головой, силясь освободиться от наваждения. – Разберусь, и тогда... продолжим... надо же мне невесту подыскать...

– Зачем?

– А почему нет? – Чтобы не упасть, Себастьян оперся на вяз. – Лихо вон женат... счастлив... чем я хуже?

– Ну... – Королевич печально усмехнулся. – Женат – это не всегда означает счастлив.

Возьми.

Он стянул с пальца перстень-печатку.

– Ежели вдруг... можешь действовать моим именем.

Перстень Матеуш положил на землю и отступил на два шага.

– Да и в самом-то деле, в отпуск бы тебе, князь...

Он сделал еще шаг и растворился в сумерках. Себастьян моргнул и потер сонные глаза кулаком... был королевич... не было королевича... ну да, естественно, что без охраны он из дворца не выйдет... после прошлогоднего-то приключения к вопросам собственной безопасности Матеуш стал относиться куда серьезней, нежели прежде.

Вот и ладно. До королевских проблем Себастьяну дела нет. С собственными разобратся бы.

Он наклонился с немалым трудом, странная слабость не отступала, и Себастьян вдруг ощутил себя невероятно старым, если не сказать – древним. Заныли суставы, и мышцы, и старые шрамы, которые, казалось, затянулись без следа.

Что за...

Он упал на четвереньки и затряс головой.

Не выходило избавиться...

Себ стиснул зубы и потянулся к перстню. И дотянулся. И поймал, сдвинул в кулаке, а в следующий миг едва сдержался, чтобы не закричать. От перстня полыхнуло жаром. И жар этот, прокатившись по крови, избавил от слабости.

– Вот, значит, как, – сказал Себастьян сам себе, когда сумел вновь говорить.

И на этих словах его вывернуло. И выворачивало долго, болезненно, внутренности горели, и горло драло, а после на мостовую вывалился волосяной ком. Черный. Осклизлый.

И тотчас распался...

– Вот значит... – Себастьян отполз под тень вяза.

Волосы шевелились, точно черви...

– Князь, вам к ведьмаку надобно бы... – раздалось вдруг сверху, и массивная рука сгребла Себастьяна за шиворот, дернула, поднимая. – Королевич приказали сопроводить...

Королевич...

Что ж, к ведьмаку – это верно...

– Погоди. – Себастьян отер рот ладонью. – Надо это взять... только не руками... нельзя руками...

– Понял. Стойте.

Себастьяна прислонили к многострадальному вязу, и как ни странно, но прикосновение к теплой древесине его принесло немалое облегчение.

Охранник же отломил веточку и споро ткнул в шевелящийся ком. Тонкие нити взметнулись, оплели ветку плотным коконом. А охранник, подобрав с земли ботинок, кинул ветку в него.

– Так-то сойдет... от же дрянь!

– Ты... как тебя зовут?

– Агафьем... – смутившись, произнес охранник и, кажется, покраснел. – Мама девочку хотела очень... сыновей-то у нее семеро было... говорит, замаялась имена придумывать, чтобы все на А... вот и...

– Зато оригинально. С фантазией.

Охранник со вздохом кивнул. Кажется, от этой родительской фантазии ему в жизни

досталось.

– Агафь... Агафий... ты сталкивался с этаким... прежде? – Речь давалась с трудом. Себастьян пощупал горло, которое, по ощущениям судя, было разодрано. Ан нет, целехонько...

– А то... в позатом годе королевича проклясть пыталися... колдовкина штучка... черноволос. Ох и поганая-то!

С данным утверждением Себастьян охотно согласился. Как есть погань.

– Оно вовнутрях пухнет и кишки дерет, пока вовсе не издерет...

Вот же... сходил на свидание.

Эльвира?

Себастьян перевел взгляд на особняк. Вернуться? С вопросами... с обвинением... нет, в таких делах спешка лишнее... надо сперва до ведьмака добраться... до штатного... а лучше к Аврелию Яковлевичу... час поздний, вернее, ранний... не обрадуется... но поможет...

Меж тем Агафий подобрал и пиджачок, и второй ботинок, поинтересовался:

– Сами пойдете, княже, аль подсобить?

Себастьян убрал руки и сделал шаг. Земля качалась, слабость была... но обыкновенного свойства.

– Подсоби, – пришлось признать, что самостоятельно он до пролетки не дойдет. И Агафий безмолвно подставил плечо. – Спасибо...

– Та не за что, княже... работа у меня такая... к Аврелию Яковлевичу везть?

Себастьян кивнул, сглатывая кислую слюну, которая подкатывала к горлу. Он стискивал королевский перстень, который, впрочем, оставался холодным, и прислушивался к урчанию в животе.

Чудилось – шевелится в нем нечто... Шевелится и растет, того и гляди, разрастется настолько, что и вправду кишки раздерет.

Помирать не хотелось.

Уж лучше бы и вправду под венец.

Глава 2, где Аврелий Яковлевич вершит волшебство, а также совершается душегубство

Люди могут жить долго и счастливо, но как их заставить...

*Философский вопрос, конкретного ответа
не предполагающий, но меж тем занимающий многие
светлые и не очень умы*

По дороге Себастьяна вновь стошнило.

И Агафий, вздохнув, привстал на козлах:

– Держитесь, княже. Скоренько поедьма.

Он сунул два пальца в рот, а после свистнул так, что каурая лошаденка, в пролетку запряженная, завизжала со страху да не пошла галопом – полетела. И пролетка с нею полетела, с камня да на камень. Себастьяну пришлось вцепиться в борта.

Он думал об одном: как бы не вывалиться. И мысли эти спасали от тянущей боли в животе. Агафий же, стоя на козлах, знай себе посвистывал и этак с переливами, с перекатами...

Кажется, на площади Царедворцев Себастьян все же лишился чувств, ибо ничего-то после этой площади и не помнил и не мог бы сказать, каким таким чудом вовсе не вылетел из несчастной пролетки и как она сама-то опосля этакой езды уцелела.

Он очнулся у дверей знакомого особняка, удивившись, что стоит сам, пусть и обняв беломраморную и приятно холодную колонну. Над нею по широкому портику расхаживала сторожевая горгулья да подвывала тоненько. Она то распахивала короткие драные крылья, то спину по-кошачьи выгибала, то трясла лобастой уродливой башкой и, грозясь незваным гостям страшными карами, драла каменный портик. Звук получался мерзостнейший, и вызывал он такое душевное отторжение, что Себастьяна вновь стошнило, прямо на розовые кусты.

– Эх вас, княже... – сказал кто-то, но, кажется, уже не Агафий.

Тот был за спиной, грозил горгулье не то пальцем, не то бляхой королевской особой стражи, главное, что та от бляхи отворачивалась и мяукала.

В дом Себастьяна внесли на руках.

– Э нет, дорогой, не вздумай глаза закатывать, чай не барышня обморочная...

Под нос сунули нечто на редкость вонючее...

– Вот так-то лучше... пальца два в рот сунь... а лучше три, – посоветовал Аврелий Яковлевич, подсовывая медный сияющий таз.

Себастьян совету последовал. Рвало его насухую...

– Черноволос. – Агафий сунул ведьмаку Себастьянов ботинок. – Во какой!

– Знатный. – Аврелий Яковлевич вытащил веточку с волосами. – Жирный какой... ишь, насосался кровей... ничего... ты, главное, Себастьянушка, помереть не вздумай.

Себастьян собирался было ответить, что скоропостижная кончина в его жизненные планы не входит, но согнулся в очередном приступе рвоты. В медный таз плюхнулся

очередной кроваво-волосяной сгусток.

– Вот так... ладненько... пей. – К губам прижался край глиняной кружки, и Себастьян послушно сделал глоток.

Питье было... Кислым? Горьким? Перебродившим явно... и с острым запахом плесени.

– Пей, будет он мне тут носом крутить. – Тяжелая ладонь ведьмака легла на затылок, не позволяя отстраниться. – Давай... за матушку... за батюшку... за родню свою... по плоточку...

Аврелий Яковлевич или издевался, или заботу проявлял, но забота его во многом была сродни издевке. Себастьян глотал питье, которое с каждым глотком становилось все более омерзительным. И сквозь сладковатый запах ныне отчетливо пробивался крепкий дух падали.

– Вот молодец, а теперь зубы стисни и терпи... сколько сможешь, столько и терпи.

Себастьян подчинился.

Он чувствовал, как ведьмаковское зелье растекается по желудку, по кишкам, как обволакивает их густым, будто масляным слоем. На мгновение ему стало почти хорошо.

А потом плохо.

Так плохо, как не было никогда в жизни...

– Вот так... правильно... – Густой бас Аврелия Яковлевича причинял невыносимые мучения, и Себастьян хотел бы попросить ведьмака помолчать, но для того пришлось бы выпустить тазик.

Его не рвало – его выворачивало наизнанку. И эта изнанка была утыкана черными крючками...

– Терпи. – Аврелий Яковлевич поднес вторую кружку. – Эту дрянь вымывать надобно... ничего, ты у нас парень крепкий... Агафий, попридержи князя...

Агафий попридержал.

Чтоб его...

Когда Себастьян открыл глаза, светило солнце.

Ярко так светило. Пробивалось сквозь кружевную занавесочку, ложилось кружевом на широкий подоконник, на листья герани, на белоснежную подушку... Себастьян закрыл глаза.

Он лежал.

Определенно лежал. На спине. Пряменько... и руки на груди скрещены, точно у покойника. Мысль эта категорически Себастьяну не понравилась. Он попытался пошевелиться, однако понял, что не способен.

А что, если и вправду за покойника приняли?

Отравили... лечили... а лечение такое, что почище отравы в могилу сведет... вот и...

Нет, если бы в могилу, то лежал бы он не в кровати, а в гробу... да и одеялом вряд ли укрывать стали бы. В гробу да с одеялом неудобно.

Мысль показалась здоровой и даже вдохновляющей. И Себастьян вновь глаза открыл. Солнце было ярким, а из приоткрытого окна приятно тянуло сквознячком. Он осознал, что, верно, лежит давно, оттого и тело затекло, занемело. Под пуховым одеялом было жарко, и Себастьян вспотел.

От пота шкура чесалась. Или не от пота?

– Живой... – раздался над головой знакомый голос, преисполненный удовлетворения. –

Эж ты, князюшка, везуч...

Припомнив вчерашний вечер, Себастьян согласился: и вправду везуч, только везение это какое-то кривое.

Меж тем Аврелий Яковлевич поднял Себастьяна, подпихнул под спину подушку, а потом и вторую, преогромную, набитую пухом столь плотно, что подушка эта обрела каменную твердость. Наволочка ее была расшита голубками и незабудками, и Себастьян эту хитрую вышивку чувствовал шкурой сквозь мокрую ткань рубахи.

– Пей от, Себастьянушка. – В руки Аврелий Яковлевич сунул кружку, огромную, глазурованную и с теми же голубками. – Пей, а после поговорим.

У самого князя кружку удержать не вышло бы. Он и рук-то поднять не в состоянии был, но с ведьмачьей помощью управился и с ними, и с кружкой, и с густым черным варевом, которое имело отчетливый привкус меди.

Но хоть внутренности не плавило, уже радость.

На самом деле с первого же глотка по крови разлилась приятная теплота. А на последнем Себастьян и кружку сам удержать сумел.

– Живучий ты, – с непонятым восторгом сказал Аврелий Яковлевич.

– Упрекаете?

– Восхищаюсь. Другой бы давно уж лежал ровненько, смирененько, как приличному покойнику полагается, а ты знай себе хвостом крутишь.

Хвост дернулся и выскользнул из-под одеяла, щелкнул по теплой половице.

Нет, умирать Себастьян точно не собирался. А собирался найти того, кто одарил его таким подарочком...

– Лежи, – рявкнул Аврелий Яковлевич. – Успеешь еще с подвигами...

– Кто... меня... – Голос, однако, был сирым, севшим. И горло болело невыносимо.

– Это ты мне расскажи, кто тебя и где...

– Когда?

Безумный разговор, но Аврелий Яковлевич понял.

– Думаю, денька два тому... вспоминай, Себастьянушка. С кем ел. Что ел... эта пакость сама собой не родится, она под человека делается, из его собственных волос... волоса... надобно снять, а после изрубить на мелкие куски. И проклясть. Про то уж я тебе подробно сказывать не стану, лишние знания – лишние печали...

Себастьян согласился, что лишние печали ему в нынешней ситуации совершенно ни к чему.

– Одно скажу, что на то не менее десяти ден надобно. – Аврелий Яковлевич отступил от кровати, решив, что ненаследный князь в обозримом будущем не сомлеет. – А держится наговор еще денька этак три... в том его и неудобство.

Значит... две недели... примерно две недели.

Себастьян постарался вспомнить, где был... а где он только не был! И премерзко осознавать, что любой мог бы...

Или нет?

Волосами своими он не разбрасывается и линять не линяет... и значит, человек, который волосы взял, достаточно близкий... настолько близкий, что явился бы в гости...

И кто являлся в гости в последние-то недели?

Лихо?

Быть того не может!

Нет, конечно нет... у Лихо нет мотива... а если... являться не обязательно... панна Вильгельмина – хорошая женщина, только не особо умна... и подружки ее... или не подружки?

Допросить бы, кого она в Себастьяновы комнаты запускала... Панна Вильгельмина запирается не станет.

Не Лихо... конечно, не Лихо... кто-то пробрался, взял волосы... волос, если Аврелий Яковлевич утверждает, что будто бы и одного довольно.

Взял.

Заговорил.

Подлил... подлить тоже непросто, но ничего невозможного... Себастьян в последнее время частенько в кофейню на Залесской улочке навещается, уж больно там кофий хороший варят, с перцем да кардамоном, с иными приправами. И столик всегда один берет, у окна, чтоб люди проходящие видны были. Интересно ему за людьми наблюдать...

– Тебе повезло, Себастьянушка. – Аврелий Яковлевич придвинул кресло к окошку. Сел, закинув ногу на ногу, из кармана вытащил портсигар.

Закурил.

– Будь ты человеком, я б, конечно, постарался, но... тут уж как боги ссудили бы. Но в постели б надолго оказался... а после всю оставшуюся жизнь питался б овсяными киселями.

Аврелий Яковлевич выглядел утомленным. И на темном его лице морщины проступили глубже, будто и не морщины, но зарубки на мореной древесине. Глаза запали. И сосуды красные их прорезали.

– И королевичу спасибо скажи...

– Заговоренный?

Перстень лежал на столике у кровати.

– А то... на нем небось через одну вещицы заговоренные... вот тебя и шибануло маленько... не тебя, а тварюку эту... только мне другое интересно. Почему тебя?

Этот вопрос Себастьяна тоже занимал.

Оно, конечно, врагов у него имелось вдосталь, что в Познаньске, что на каторгах, и многие людишки с превеликою охотой выпили б за упокой мятежной княжеской души. Вот только с волосьями возиться... нет, лихой народец к таким вывертам непривычный. Ему б попроще чего...

Как в позатом годе, когда повстречали Себастьяна четверо да с гирьками на цепочках...
...семь лет каторги за разбой.

Или три года тому... темный переулочек да нож, который о чешую сломался.

Или в тот раз, когда в управление бомбу прислали... бомба, оно куда как проще, понятней...

Аврелий Яковлевич не столько курил, сколько вертел папироску в пальцах, казавшихся на редкость неуклюжими.

– И отчего именно теперь...

– То есть? – Силы медленно, но возвращались. И Себастьяну удалось сесть самому. Он стянул пропотевшую рубашку, отер ею плечи и лицо. – Какая разница когда?

– Может, – согласился Аврелий Яковлевич, – и никакой. А может... может, тебя не просто травили, а убрать хотели, чтоб, значит, под ногами не путался... дело-то такое... полнолуние было...

Ведьмак говорил медленно, подбирая слова, а этаких политесов за ним прежде вовсе не водилось. И оттого неприятно похолодело в груди. Хотя, конечно, может, и не внезапная перемена, случившаяся с Аврелием Яковлевичем, была тому причиной, но банальнейшие сквозняки.

– Убили кого? – облизав сухие губы, поинтересовался Себастьян.

Ответ он знал.

– Убили.

– Кто?

– А мне откуда знать кто? – Аврелий Яковлевич с немалым раздражением папироску смял. – Это ты у нас, мил друг, опора и надежда вся познаньской полиции.

Ведьмак поднялся:

– Ты у нас и выяснишь. Коль уж жив остался...

– Аврелий Яковлевич!

– Чего?

– На меня-то вы чего злитесь? Я-то ничего не сделал...

Аврелий Яковлевич нахмурился, и уголок рта его дернулся, этак недобро дернулся.

– Старую, видать... вот и злюся без причины... слухи пошли, Себастьянушка... а это дело такое... и королю неподвластно их остановить. Поговори с крестничком, чтоб поберегся, чтоб не натворил глупостей...

Ведьмак прошелся по комнатухе, которая, надо сказать, была невелика и на диво прелестна. Светлая. Яркая. С мебелью не новой, но весьма солидного вида. Единственно, что солидность эту портило, – статуэтки из белого фарфору.

Голубочки. Кошечки... вот как-то не увязывались у Себастьяна кошечки с характером Аврелия Яковлевича. Он же, подняв статуэтку с каминной полки, повертел, хмыкнул и на место вернул:

– Экономка моя... все уюты наводит... пушай себе...

– Аврелий Яковлевич! – Себастьян попробовал было сидеть сам, без опоры на подушку, и понял, что получается. – Рассказывайте.

Неприятное чувство в груди не исчезло. И значит, не сквозняки были ему причиной.

– Рассказывать... рассказать-то я расскажу, да только показать – оно всяк быстрее.

И на одеяло упал характерного вида бумажный конверт.

– Аккурат с утраца и вызвали-с... только-только тебя, мил-друг, откачал, умыться не успел даже, а тут нате, пожалуйста, Аврелий Яковлевич, на место преступления, долг свой обществу, значит, отдать...

Пальцы все еще слушались плохо, и Себастьян несколько раз сжал и разжал кулаки.

Конверт был жестким, из шершавой плотной бумаги, с острыми уголками, о которые в прежние времена ему случалось и пальцы резать. В левом углу виднелась лиловая печать полицейского управления. В правом – красная полоса предупреждением, что содержимое сего конверта является государственной тайной, а потому доступно не каждому.

Себастьян провел по полосе большим пальцем и поморщился, обычная процедура ныне показалась на диво болезненной. И кожа на пальце покраснела, вспухла волдырем.

– Это нормально?

Он продемонстрировал палец Аврелию Яковлевичу, который лишь плечами пожал да заметил философски:

– А что в нынешнем-то мире нормально?

Из конверта выпало пяток снимков. Видно, делали в спешке, по особому распоряжению... и получились снимки вроде бы и четкими, да в то же время какими-то ненастоящими, что ли.

Не снимки – картинки из театра теней.

Глухой проулок. И кирпичная стена, получившаяся на редкость выразительно. А вот край вывески на этой стене размыт, и сколь Себастьян ни вглядывался, букв не различил.

– Переулок Сапожников, – подсказал Аврелий Яковлевич, вытаскивая очередную сигаретку. Эту он покатал в пальцах, разбивая комки табака. Дунул. Прикусил белую бумагу, вздохнул: – Спокойное местечко... мирное...

Не столь мирное, как Бяла улица, но все же...

Себастьяну доводилось бывать в этом переулке, и он с неудовольствием отметил, что мог бы и сам узнать, без подсказки. По кирпичу, темно-красному, особого винного колера, который встречался лишь на старых улочках Познаньска. По характерному фонарному столбу с желтой табличкой, где выгравировано было имя благодетеля, кто сей столб поставил, по камням мостовой, круглым, аккуратным.

По витрине на втором снимке.

И флюгере-сапоге на третьем...

Впрочем, ныне его интересовала вовсе не мостовая и даже не флюгер, каковыми местные сапожники донельзя гордились, сказывая, что будто бы делали эти флюгера в незапамятные времена по особому разрешению...

Женщина сидела. Пожалуй, на первый взгляд могло показаться, что ей, уже немолодой, стало дурно, вот она и присела прямо в лужу...

Дождей в Познаньске уже недели две как не было. И все мало-мальски приличные лужи высохли. Только эта, темная, черная почти, появилась не так давно.

И в ней отражалась бляха луны.

Себастьян сглотнул, сдерживая тошноту. Ему случалось повидать всякого. Вспомнился вдруг утопленник, которого месяц тому выудили, а с ним – и ведра два раков, которых санитары разобрали... съедят и не побрезгуют. Еще шутили, что так оно в природе положено, сначала раки едят человека, а опосля наоборот...

...или та старушка, которая кошек держала, а после померла, сердце прихватило... и нашли ее только на третий день...

...или одержимая, своих детей зарубившая...

Нет, случалось повидать всякого, а потому Себастьян и сам не понял, отчего эта картина, почти мирная, почти пристойная, вызывала в нем столь неоднозначную реакцию.

И он поспешил взять другой снимок.

Лицо крупным планом. Искаженое страхом и еще, пожалуй, болью.

Разодранная шея... и не просто разодранная, гортань вырвали...

Живот-дыра. Змеи кишок, стыдливо прикрытые подолом длинной черной юбки.

– Это... не мог быть... человек? – Говорить было тяжело, но Себастьян заставил себя пересмотреть снимки.

Лихо...

Не стал бы убивать. Он ведь совестливый. Он первый бы себя на цепь посадил, пойми, что с ним неладно... а ведь не далее как вчера встречались... Позавчера уже... Самое то время, чтобы плеснуть в кофий заговоренного зелья.

Нет, гнать такие мысли поганой метлой надобно. Лихо никогда бы... ни за что бы...

и эту женщину он не убивал. Но кто-то хочет, чтобы подумали именно на него... и ведь подумают.

– Кто ее нашел?

– Дворник, – ответил Аврелий Яковлевич, дыхнув едким табачным дымом. – И да, сообщил он не только полиции... к моему прибытию от репортеров не протолкнуться было...

Плохо. Мигом вспомнят прошлогоднюю историю и Вевельского волкодила приплетут, не разбираясь, виновен он или нет. Виновного так еще и отыскать надобно, а Лихо – вот он, в городе...

Сказать, чтоб уехал? Оскорбится, дурья башка... или подумает, что и Себастьян поверил. Успокоиться.

Лихо ни при чем. Но вот отравление это своевременное весьма... будь Себастьян человеком... или не попадись ему в руки королевское колечко, как знать, чем нынешняя ночь закончилась бы...

– Аврелий Яковлевич, – Себастьян перебирал снимки, осторожно поглаживая и острые углы карточек, и гляцевую поверхность, – а с вами-то ничего за последние дни не происходило... странного?

Ведьмак усмехнулся, этак со значением.

– Верно мыслишь, Себастьянушка... приключилось. Цветы мне прислали. Лилии...

Он тяжело вздохнул.

– С проклятием? – поинтересовался Себастьян.

– Что? А нет... с ленточкою черной и открыткою.

– Шутите?

– Да какие тут шутки? – Аврелий Яковлевич стряхнул пепел на ладонь, а затем высыпал в разъявленный клюв фарфоровой утки. – Или думаешь, что у меня поклонница тайная завелась...

– Ну почему поклонница... может, и поклонник...

Ведьмак хмыкнул.

– Венок болотных белых лилий... короной на твоём челе...

– Это что, стихи?

– Вроде того.

– Аврелий Яковлевич!

– Она очень любила лилии... колдовкин цветок, – он говорил, разглядывая несчастную утку с превеликим вниманием, – а я любил ее... и стихи вот писать пытался. Оду во славу... дурень старый... нет, тогда-то еще молодой, но теперь...

Аврелий Яковлевич тяжело вздохнул:

– Предупреждает она...

О чем предупреждает, Себастьян уточнять не стал, чай, сам понимает, что ни о чем хорошем. А ведь почти поверил, что та прошлогодняя история в прошлом осталась.

Демон сгинул. Колдовка мертва. Черный алтарь вернулся в Подкозельск, где ему самое место...

На Лихо и то коситься перестали, говорил, вроде, что даже приглашали куда-то, не то в салон, не то на бал, не то еще куда, где людям на живого волкодила глянуть охота...

Себастьян тряхнул головой, что было весьма неосторожно, поелику голова эта сделалась вдруг неоправданно тяжелой и он едва не рухнул с кровати. Подушка спасла. И одеяло,

то самое, пуховое, в которое Себастьян обеими руками вцепился.

– Полегче, – велел Аврелий Яковлевич, заметив такую маневру. – Тебе, мил друг, в этой постельке до вечера лежать...

– А...

– А труп от тебя никуда не денется. – Ведьмак дыхнул дымом, и Себастьян закашлялся.

– За между прочим, курение вредно для здоровья! – заметил Себастьян, разгоняя сизый дым ладонью. – А у меня его и так немного осталось...

– Так кто ж в том виноватый? – притворно удивился Аврелий Яковлевич. – Нечего всякую пакость жрать, тогда и здоровье будет.

Замолчали оба.

Следовало сказать что-то... но ничего в голову не шло. Вообще, голова эта была на редкость пустой, и непривычность подобного состояния донельзя смущала Себастьяна.

Он вновь поднял снимки...

– Кто она?

– Сваха. – Аврелий Яковлевич прикрыл глаза. – Профессиональная... заслуженная, можно сказать...

О чем это говорило? А ни о чем.

– Ты, Себастьянушка, не спеши... успеешь... крестничка моего пока не тронут, а с остальным справишься... только на будущее... перстенок королевский я силой напирал. Прежде чем в рот чего тянуть, ты его поднеси. Ежели нагреется, то...

– Понял.

– От и ладно. – Ведьмак поднялся. – Это хорошо, что ты у нас такой понятливый. И еще, вещицы какие, ежели вдруг в руки проситься станут, не бери.

– Это как?

– Обыкновенно... вот пришла, к примеру, тебе посылочка... от поклонницы... иль еще от кого... ты ее открывать не лезь. Али еще бывает, что идешь по улочке себе, а тут под ноги чужой бумажник...

– Аврелий Яковлевич, да за кого вы меня принимаете! – Себастьян оскорбился почти всерьез. Он, быть может, и не образец благородства, но чужими бумажниками до сего дня не побирался.

– Экий ты... все торопишься, торопишься... я ж не в том смысле. Лежит бумажник, прям-таки просится в руки... нет, ты у нас человек приличный, а неприличных вокруг полно. А ну как возьмут – и с концами? Вот и тянет вещицу поднять, пригреть, до тех пор, само собою, пока истинный хозяин не сыщется... или вот и вовсе блеснет монетка, медень горький, но тебя такая охота ее поднять разберет, что...

– Не брать.

– Не брать, – важно кивнул Аврелий Яковлевич. – И вообще, Себастьянушка, купи себе перчатки и очки...

Очки Аврелий Яковлевич к вечеру самолично преподнес: круглые и со стеклами синими.

– Брунетам, говорят, синий идет, – сказал он и на стеклышки дыхнул, протер батистовым платочком, отчего рекомые стекла сделались какими-то неестественно яркими.

Глава 3, где имеет место быть семейный ужин и высокие отношения

Женщине вдвойне приятнее ответить, если спрашивают другую женщину.

Жизненное наблюдение, сделанное панной Авелией, владелицей пансиона для благородных девиц, на склоне жизни

Тихие семейные вечера Евдокия успела возненавидеть.

Нет, ей было немного совестно, поелику нехорошо ненавидеть родственников мужа, тем паче что сам супруг к вышеупомянутым родственникам относился с нежностью и любовью.

А она...

Она старалась. Весь год старалась.

А вышло... что вышло, то вышло.

Музыкальная комната в пастельных тонах. Потолки с лепниной. Люстра сияет хрусталем. И сияние ее отражается в натертом до зеркального блеска паркете.

Темные окна. Светлые гардины обрамлением.

Низкая вычурная мебель, до отвращения неудобная... Евдокия с трудом держит и осанку, и улыбку... собственное лицо уже задеревенело от этой улыбки, маской кажется.

Тихо бренчит клавесин.

Играла Августа, а Катарина перелистывала ноты... или наоборот? Нет, ныне Августа в зеленом, а Катарина в розовом... или все-таки? У Катарини мушка на левой щеке... точно, в виде розы. Августа же на правую ставит и над губой тоже... и пудрится не в меру, по новой моде, которая требовала от девиц благородного происхождения аристократической бледности.

...Катарина же предпочитала укус принимать, по пять капель натошак.

И Евдокии советовала весьма искренне: средство хорошее, авось и поможет избавиться что от неприличного румянца, что от полноты излишней...

Клавесин замолк.

И сестры поклонились. Они хоть и рядятся в разное, а все одно Евдокия их путает...

– Чудесно! – возвестила Богуслава.

Как у нее получается быть такой... искренней?

– Вы музицируете раз от раза все лучше... в скором времени, я уверена, вы сможете и концерты давать...

Евдокия благоразумно промолчала. Чего она в музыке понимает? Вот то-то и оно... ни в музыке, ни в акварелях, которые сестры демонстрировали прошлым разом, и Богуслава пообещала выставку организовать, хотя, как по мнению Евдокии, акварели были плохонькие... ни даже в столь важном для женщин искусстве, как вышивка гладью. Вышивка крестом, впрочем, также оставалась за пределами Евдокииною разума.

– Вы так добры, дорогая Богуслава! – воскликнула Августа.

Или Катарина?

– Так милы!

– Очаровательны!

– Мы так счастливы принимать вас...

Евдокию, как обычно, не заметили. И в этом имелась своя прелесть. В прежние-то разы ее пытались вовлечь в беседу, во всяком случае, она по наивности своей видела в этих попытках участие.

Добрую волю.

– И я счастлива, дорогие мои... – Богуслава обняла сначала Катарину, затем Августу... –

В детстве я мечтала о сестре... а теперь получила сразу троих...

Все-таки голова разболелась. И не только в мигрени дело. Этот дом будто высасывал из Евдокии силы. И всякий раз она давала себе слово, что нынешний визит будет последним.

Она поднялась и вышла.

Никто не заметил.

Своего рода перемирие. Евдокия старается его не нарушать.

В соседней комнате темно, и лакей не спешит зажечь газовые рожки, надо полагать, не считает Евдокию достойной таких трат. Обидно? Уже нет. Она ведь поняла, что в этом доме ее никогда не примут. Зачем тогда она мучит себя, являясь сюда раз за разом? Чего проще отговориться той же мигренью или занятостью... хотя нет, занятость – неподобающий предлог для женщины. Впрочем, чего еще ждать от купчихи, помимо денег?

Деньги они бы приняли. И готовы были бы терпеть Евдокию, если бы она...

Не плакать.

Было бы из-за чего слезы лить... небось маменьке с ее свекровью благородных эльфийских кровей тоже нелегко приходится...

Смешно вдруг стало, только смех горький, безумный почти... а ведь дай повод, и станет объявить. Нет, хватит с нее игр в приличия.

Глаза Евдокии привыкли к сумраку.

Нынешняя гостиная была невелика и, пожалуй, не столь роскошна. Дом требовал ремонта. Об этом Лихославу напоминали постоянно и еще о его долге перед сестрами, которые были уже достаточно взрослыми, чтобы устроить их судьбу... настолько взрослыми, что через год-другой это самое устройство судьбы станет мероприятием затруднительным, если и вовсе не невозможным.

Сестрам требовался новый гардероб.

И драгоценности.

Коляска.

Выезды, приемы, для которых опять же надобно было привести дом в порядок...

Евдокия коснулась шершавой, чуть влажноватой стены. Странное дело, сейчас, наедине, дом, в отличие от хозяев его, Евдокии нравился. Было в нем нечто спокойное, сдержанное... Лихослава напоминал.

...если рассказать...

...получится, что Евдокия жалуется, он поверит, конечно... и огорчится.

Он ведь действительно любит сестер, а те... те любят Богуславу и желают быть на нее похожими...

– Я тобой займусь, – пообещала Евдокия дому. – Но позже... сначала надобно

с поместьем разобраться. Ты не представляешь, до чего там все запущено... а ведь хорошая земля... сытная... и лес опять же. Его за копейки продавали, штакетником, а меж тем – первоклассная древесина. Дуб.

Вряд ли дому было интересно слушать об этом.

А кому интересно?

Разве что Лихославу, который вполне искренне пытался вникнуть в дела поместья и вникал же, разбирался понемногу, пусть и давалась ему эта наука с немалым трудом.

Шутил, будто бы уланская голова для того не предназначена, чтоб в нее цифры укладывать.

...надобно рассказать.

...по-честному оно будет, потому как хватит Евдокии себя мучить.

В тиши и темноте и головная боль притихла.

Евдокия обошла комнату.

Деревянные панели... дуб или вишня? Мягкий шелк стен... камин, облицованный не иначе как мрамором, и, скорее всего, облицовку надо бы менять, поелику мрамор без должного ухода имеет обыкновение желтеть...

Полка над камином пуста, мебели почти нет.

И на пальцах остается пыль. Стало быть, комната из тех, в которые гостей не водили... вот и продали отсюда все, что можно было продать. Гардин и тех не осталось, окна голы, и бесстыжая луна заглядывает в них... и так она близка, так огромна, что манит – не устоять.

Евдокия и пытаться не стала, благо обнаружилась и дверь. Вывела она на террасу.

Ночной воздух был приятно прохладен. А скоро полыхнет в полную силу лето, опалит Познаньск жаром солнца, раскалит каменные противни мостовых да коробка домов, иссушит яркую зелень парков да аллей. И запахи смешает...

...уехать бы...

...в том годе уехали в свадебный вояж, который продлился целый месяц, а в нынешнем дела, и бросить их никак не можно...

...магазин только-только открылся... и склады... и тот маленький свечной заводик, который удалось прикупить по случаю за цену вовсе смешную, поелику свечи ныне вовсе не в моде.

Мысли о делах дарили желанное успокоение.

Пахло жасмином и еще лилиями, что Евдокию удивило – не их время. Они-то в самое пекло расцветают, дополняя дымные душные городские ароматы сахарно-сладкими нотами.

...а сахар в цене поднялся, и вновь заговорили, что виной тому вовсе не неурожай тростника, а едино корчагинская монополия, которую давно пора было порушить, да только Корчагины под рукою Радомиллов живут и оттого за монополию свою спокойные.

Соловей замолчал. И Евдокия услышала нервный голос.

Катарина? Августа? А то и вовсе обычно молчаливая Бержана...

– ...ах, Богуслава, как нам жаль! – Голос нервный, и в нем слышится все то же болезненное треньканье клавесина. – Княжной следовало бы тебе стать...

Окна... Верно, окна приоткрыты... и Евдокия не желала подслушивать... Или все-таки?

По всем правилам приличий ей следует развернуться и уйти, но... к Хельму все приличия вместе с правилами. О Евдокии ведь говорят. Ей и слушать.

– Мы, признаться, думали, что дело в привороте... – Катарина, у нее есть приобретенная привычка слегка картавить, словно бы она – малое дитя, не способное правильно

выговаривать буквы. – И купили отворотное зелье...

Сердце заледенело.

– Думали, выпьет, поймет, чего натворил, и отошлет ее куда-нибудь, – поддержала сестрицу Августа.

– А он выпил, и ничего!

– Совсем ничего.

И лед тает.

Если ничего, то... то это ведь хорошо, не так ли? Замечательно даже. И надо быть практичной, правда, получается не очень. Мысли крутятся-вертятся, что те мельничные колеса...

...на старой усадьбе поля засевали плотно, однако же, судя по отчетным книгам, урожай там были слабые, такие, что едва-едва само высеянное зерно окупалось.

...а мельница развалилась, потому как зерно, то самое, неуродившееся, продавали на сторону, взамен покупая муку втридорога.

...и надо бы решить, то ли мельницу ставить, то ли...

...а если ставить, то нового образцу, и молотилок закупить, сеялок новых... но это, конечно, на следующий год уже...

– Вотан ниспослал нам испытание, – а этот скрипучий низкий голос принадлежит Бержане, – и мы должны нести его с гордо поднятой головой...

Гордости у княжны хватит на двоих, а то и на троих, и пусть говорит она о смирении, пусть молится, но и молитва ее какая-то... нарочитая, что ли? Слова произносит медленно да по сторонам поглядывает, всем ли видна глубина ее благочестия?

Это все ревность говорит злая. Обида. Заставляет кулаки стиснуть и губу прикусить до боли, едва ли не до крови...

– И молить богов о терпении...

Катарина фыркнула. А может, не она, но сестрица ее, близняшка.

– Еще скажи, что мы небесам спасибо сказать должны. – Это раздалось совсем рядом, и Евдокия отступила. Почему-то ей стыдно было от мысли о том, что ее могут обнаружить на этом вот балкончике, ведь тогда подумают, будто она, Евдокия, подслушивает...

И правы будут.

– Лихослав поступил безответственно. – Низкий грудной голос Богуславы очаровывал. Эта женщина, с которой Евдокия тоже пыталась быть вежливой, признаться, внушала ей страх.

Она была... слишком? Пожалуй, именно так... слишком красива... слишком совершенна... учтива, вежлива... безупречна в каждом слове своем, в каждом взгляде. Именно таковой и должна быть княгиня Вевельская.

А не...

В темном стекле отражение Евдокии казалось нелепым.

Платье это... шелк и муслин. Вышивка ручная. Деньги, выброшенные на ветер, потому как второй раз его не наденешь, ибо неписанные правила светских визитов то запрещают. И главное, жаль, потому как Евдокия себе в этом платье нравилась. Она становилась стройней. И моложе... и с Богуславой все одно не сравниться, почти десять лет разницы.

– Я допускаю, что он испытывает... влечение к этой женщине...

...именно.

...Евдокия для них всех не была человеком, но лишь абстрактной «женщиной», которая

едва ли не обманом в семью проникла. И теперь все ждали, когда же сей обман вскроется и Лихо, разочаровавшись, отошлет ее...

...не разведется. Разводы не приняты...

...или не были приняты? Собственная матушка Лихослава, которая вышла замуж повторно, не подала ли дурной пример?

Впрочем, лучше уж развод, чем жизнь по обязательствам.

– Мужчины во многом примитивные существа. Они поддаются собственным низменным желаниям, порой не задумываясь о последствиях их. – В этом низком голосе звучала печаль.

И Евдокия прижала ладони к горящим щекам.

– Эта женщина миловидна, а ваш брат так долго служил на границе, что отвык от женского общества... вот и взял первую, которая показалась довольно доступной...

– Ты думаешь...

– Я почти уверена, – с ноткой пренебрежения отозвалась Богуслава, – что к алтарю она шла вовсе не невинной... ваш брат – благородный человек...

Щеки не горели – пылали.

– Он пока еще ослеплен ею, но вскоре эта ослепленность уйдет. И он поймет, сколь глубоко ошибался.

Если уже не понял.

– Если уже не понял. – Богуслава озвучила украденную мысль. – Он, конечно, станет все отрицать...

Вздых. Громкий. Совокупный.

– К тому же Евдокия принесла в семью деньги, и он будет чувствовать себя обязанным...

– Если бы от этих денег еще польза была... представляешь, я попросила у Лихо денег... всего-то двести злотней. А он не дал! Говорит, что мы и без того много тратим.

Зачем Евдокия это слушает? Неужели и вправду надеется услышать нечто для себя новое.

– Но я же должна хорошо выглядеть! – Августа едва не кричала, но вовремя спохватилась: высокородные панночки следят за своей речью, которой надлежит быть тихой и плавной. – Ты же понимаешь, Славочка, каково ныне молодой бедной женщине...

Евдокия фыркнула.

Не были они бедными, несмотря на все долги князя Вевельского, на проданные картины, на исчезнувшие в ломбардах статуэтки... на фамильные драгоценности, которые пришлось-таки выкупать, хотя Евдокия с гораздо большей охотой оставила бы их в закладе. Куда ей надевать тот сапфировый гарнитур, который якобы ей принадлежит, да только от той принадлежности слова одни.

– Тише, дорогая. – Богуслава улыбалась.

Евдокия не видела ее лица, но точно знала – улыбается ласковой правильной улыбкой, именно такой, какая и должна быть у родовитой панны.

– Все еще наладится...

– Как?! – Это хотела знать не только Августа. – Мы же пробовали...

– Вы поспешили... погодите...

– Год ведь...

– Год – это слишком мало... и в то же время много... ты права. Целый год прошел, а она еще не объявила о том, что ждет наследника...

– Она старая...

– И хорошо. Для вас, мои дорогие. Княгиня Вевельская не может быть бесплодной...

если она желает оставаться княгиней.

Вот уж чего Евдокия точно не желала. Но разве ж у нее был выбор?

Был. Отказаться.

Он ведь забрал перстень, и... и не следовало принимать его.

Любовь?

Любовь – это хорошо... но не получится ли так, что ее будет недостаточно?

Нет, она не сомневается в Лихо... пока не сомневается? Или, если все-таки думает о том, что однажды он попросит развода, сомневается?

Это дом... или не дом, но люди, в нем обитающие... сестры Лихослава... и отец, который до Евдокии не снисходит, и всякий раз, встречая ее, кривится, будто бы сам вид Евдокии доставляет ему невыразимые мучения.

– Поэтому и говорю я, дорогие мои, что надо немного подождать... ни один мужчина не потерпит рядом с собой бесплодную жену...

– А если вдруг?

Робкое сомнение, которое отзывается злой исковерканной радостью. Действительно, а если вдруг боги окажутся столь милостивы... если вдруг не так уж Евдокия и стара... она ведь ходила к медикусу... поздний визит, маска... пусть и говорят, что медикусы хранят свои тайны, но под маской Евдокии спокойней. И он уверил, будто бы все с нею в порядке.

И в тридцать рожают. И в сорок... и если так, то... то до сорока она сама с ума сойдет.

– Хватит уже о ней. – Бержана произнесла это с немалым раздражением, точно эти разговоры о Евдокии вновь обделали ее.

В чем? В восхищении ее рукоделием? О да, вышивала она чудесно что гладью, что крестом, что бисером... пыталась, помнится, и волосом, как святая ее покровительница, создавшая из собственных волос гобелен чудотворный с образом Иржены-утешительницы...

Правда, свои тяжелые косы Бержана не захотела остригать, удовлетворилась купленными... может, оттого у нее и не вышло? Какое чудо из заемных волос?

Евдокия стянула перчатки и прижала холодные ладони к щекам. Вотан милосердный, какие у нее мысли появились. Самой от них гадко, ведь никогда-то прежде Евдокия не радовалась чужим неудачам, а тут... будто отравили, только не тело, а душу.

Нет, хватит с нее... Хватит... Она уже совсем решила уйти, когда...

Звук?

Стон... или крик... такой жалобный...

– Вы слышали?

– Это всего лишь птица, – с уверенностью заявила Богуслава.

Птица?

Евдокии случалось слышать и густой бас болотной выпи, и жалобное мяуканье сойки, и разноголосицу пересмешников, которые спешили похвастать друг перед другом чужими краденными голосами, но вот такой...

Плач. И снова.

– Птица. – Богуслава повторила это жестче, точно не желала допустить и тени сомнения.

Евдокия же наклонилась.

Не темно, луна благо полная, яркая. И висит над самым садом. Но в желтоватом неровном свете ее сам этот сад выглядит престранно.

Чернота газонов.

Стены кустарников.

Уродливые, перекрученные какие-то деревья в драных листовых нарядах.

И человек.

Он медленно шел по дорожке, которая гляделась белой, будто бы мукой посыпанной.

И сам этот человек...

...Лихо надел белый парадный китель.

Он? Окликнуть?

Но куда идет... от дома... и походка такая... пьяная словно. То и дело останавливается, руки скидывает к голове, но, прикоснувшись, опускает. Или нет, сами они падают безвольно, точно у человека нет сил совладать с их тяжестью.

И все-таки, кто это... не Лихо... Похож, и только. И то стоит присмотреться, как сходство это призрачное растает. Просто человек... человек, которому плохо.

И Евдокия отступила от парапета. Она найдет кого-нибудь из слуг, пусть выйдут в сад... найдут и помогут... скорее всего, какой-то гость князя, из тех, что задерживаются в доме непозволительно долго, отдавая должное и самому дому, и винным его погребам.

Благо стараниями Лихо эти погреба вновь полны.

Богуслава улыбалась.

О, когда б знала она прежде, до чего тяжелое это занятие – улыбаться. Хотелось закричать. Схватить вазу. Вон ту вазу, будто бы цианьскую, но на деле – подделку из Гончарного квартала – и обрушить на голову Августе.

Или Катарине.

То-то потешно было бы... или сразу на обе? Благо девицы склонились друг к другу, шепчутся... о чем? Ясное дело, наряды обсуждают... или потенциальных женихов... или еще какую глупость, но главное, что к этой глупости следует относиться с превеликим снисхождением.

От Богуславы его ждут. Ей верят. Восхищаются. И следует признать, что это восхищение, которое порой граничило с помешательством, было ей приятно.

Хоть какая-то польза...

– У вас чудесный вкус, – польстила Бержана, перекусывая шелковую нить ножничками. – Мне тоже невероятно больно видеть, во что превратился этот дом... а все – стараниями нашего батюшки. Вы не подумайте, я, как и полагается доброй дочери, чту его. Но почитание не туманит мой разум. Я вижу, сколь сильно он погряз в пучине порока.

Тонкие пальцы Бержаны, вялые, белые, копошились в корзинке для рукоделия, перебирая нитяные комки...

...виделись черви... тонкие разноцветные черви, которые спешили опутать эти пальцы, поймать Бержану.

– Теперь вашими стараниями этот дом возрождается... но до бывшего великолепия ему далеко.

Катарина поймала нить-червя. Потянула. Вытянула и привязала к стальной игле. Она действовала с хладнокровием, которое импонировало бы Богуславе, если бы нить и вправду была бы червем. Вот только к настоящим червям княжна Вевельская не прикоснется и под страхом смерти. Слишком брезглива. Горда. И забывает, что гордыня – тот же грех в глазах ее богов.

Ее ли?

Именно так, те боги давно уже перестали что-то значить для Богуславы. Когда? Прошлым летом... или уже осенью, когда вместе с последней листвой догорело и сердце ее.

Болело?

Истинно так, болело, особенно в ночной тишине, когда становилось пусто... и супруг уходил... он быстро потерял к Богуславе интерес, а быть может, никогда его не имел, желал лишь денег...

...к счастью, оказался слишком слаб, чтобы деньги забрать.

О нет, Богуслава позволяла себе щедрость и супруга баловала. Ни к чему слухи, будто бы в жизни семейной их что-то там не ладится... пусть он и ходит по девкам... а кто не ходит?

Лихослав?

Он волкодлак, а эти верные... и смешно, и горько оттого... и тогда, осенью, как раз под дожди, которые были будто бы слезы, только не Богуславины – способность плакать она утратила гораздо раньше, – ей и пришла в голову удивительная мысль, что если бы Лихослав выбрал ее...

...глядишь, любви его хватило бы, чтоб заполнить пустоту внутри Богуславы. И эта пустота не пожрала бы ее...

...впрочем, дожди закончились, а после появились морозы, и землю, и душу Богуславы прихватило ледком. Кажется, тогда-то ей и пришла в голову замечательная мысль...

Она улыбнулась, на сей раз без принуждения, но самой себе, собственным тайным планам...

Она раскрыла веер из перьев сойки. И провела пальцами по костяной резной рукояти... уже скоро... совсем скоро...

– Мои родители повели себя безответственно. – Бержана выводила дорожку из стежков... что это будет? Очередная накидка на подушки, украшенная очередным же высоконравственным изречением? Картина? Носовой платок с монограммой? – И нам суждено отвечать за грехи их.

Бержана была некрасива. Быть может, в том истоки ее желания уйти в монастырь?

Ей к лицу будет монашеское облачение, а вот темно-зеленое платье не идет. Кожа желтовата. Узковато лицо. Лоб чересчур высок, а подбородок – узок. Шея длинна, но как-то нелепо, по-гусиному, и гладко зачесанные волосы лишь подчеркивают некую несуразность ее головы, будто бы сплюсненной с двух сторон.

– И мои сестры пока не осознали, что боги приготовили для них путь...

Августу и Катарину, пожалуй, можно было назвать хорошенькими.

Сладенькими, как сахарные розы.

И такими же бессмысленными. Батист и муслин. Перламутровые пуговицы. Кудельки-букли, которых наворотели столько, что появилось в образе сестер нечто такое, весьма овечье...

Быть может, оттого и в самой речи сестер нет-нет да проскальзывало бляение.

– У каждого своя дорога. – Богуслава сказала чистую правду.

В нынешнем ее состоянии, пожалуй, все еще зимнем, несмотря на близость лета и жару, которая в иные времена выматывала, напрочь лишая сил, правду говорить было легко.

Все изменилось.

И силы у Богуславы имелись... то-то супруг ее удивился, когда... и испугался... и страх этот сделал его хорошим мужем... удобным.

Богуслава коснулась пальцами губ, вспоминая сладкий вкус крови.

Тоскуя по этому вкусу.

И по утраченной силе... тогда она, глупая, не сумела сбегать демона. А ныне вынуждена прятаться, поскольку все же слишком слаба, чтобы устоять перед людьми.

Перед всеми людьми.

Хлопнула дверь, громко, пожалуй что раздраженно, и мысли разлетелись осколками. Богуслава поморщилась, все же в нынешнем ее состоянии ей было тяжело сосредоточиться на чем-то, что касалось чужих забот, до того пустыми, ничемными казались они.

И от маски Богуслава уставала...

Домой бы... она бросила взгляд на каминные часы – еще одна жалкая подделка, исполненная столь грубо, что поддельность эта становилась очевидна каждому. И часы наверняка врал, но... ждать.

Еще полчаса? Час?

Сколько получится. Богуслава лишь надеялась, что ожидание это будет вознаграждено.

– Евдокия, – меж тем Бержана, которой было невыносимо молчание, обратила свой взор на купчиху, которая вернулась в гостиную, – а вы что думаете о служении богам?

– Ничего не думаю, – спокойно ответила Евдокия.

Хорошо держится. С должной отрешенностью, с подчеркнутым равнодушием, которое и бесит глупеньких девиц Вевельских. Им-то мнилось, что Евдокия станет заискивать, золотом осыпать в попытке снискать расположение новоявленной родни.

Богуслава осыпает.

Но ей не расположение надобно, а поддержка, когда...

...все ведь изменится.

И скоро.

Бержану этакий ответ не порадовал. Она поджала губы, и без того узкие, а ныне превратившиеся вовсе в черту. И лицо ее сделалось еще более некрасивым.

Не в отца пошла, тот хорош, Богуслава видела портреты. И не в матушку...

– Вы не чувствуете в себе внутренней потребности очиститься? – Бержана раздраженно воткнула иглу, будто бы не канву перед собой видела, но врага... воплощение порока, которое и собралась одолеть железом да шелком.

Железо Богуславе не нравилось. Холодное. И холод этот отличался от зимнего, поселившегося внутри.

– Не чувствую. – Евдокия присела на софу и расправила юбки.

...и платье ей идет.

...у кого шила? Надобно будет выяснить...

...и намекнуть, что нехорошо истинно верующим людям потворствовать нечисти. Сегодня они волкодлачью жену одевают, а завтра, глядишь, и сами на луну выть начнут...

Богуслава потерла виски пальчиками. Она сама чувствовала близость луны и странный бессловесный ее зов, который, впрочем, был слишком слаб, чтобы увлечь ее...

– И все же, – Бержана не собиралась отступать, – вам следует больше уделять внимания своей душе... вы слишком погрязли во всем этом...

Бержана взмахнула рукой, едва не выпустив при том иглу.

– В мирском... в суетном. – Она вновь склонилась над вышивкой. – Вы только и думаете, что о деньгах, меж тем сказано в Великой книге, что золото мостит Хельмовы пути.

Это прозвучало почти вызовом. Или упреком? Или и тем, и другим сразу?

Но Богуслава не собиралась вмешиваться в сии семейные дела. Она откинулась в кресле, довольно удобном, пусть и перетянута дешевой тканью, каковой она сама побрезговала бы...

...вечер, кажется, переставал быть томным.

Глава 4, в которой речь идет о многих достоинствах женщин, а также о благотворительности

Если хотите узнать глубину души человека, то плюньте ему в душу и считайте до тех пор, пока не получите по морде.

Откровение, сделанное Люлькой Цнявым, уважаемым в Разбойной Слободе человеком, на основе немалою жизненного опыта и знания человеческой природы

Уже вернувшись в гостиную, Евдокия пожалела о том, что не осталась на балкончике... или вот в саду можно было бы прогуляться... или в библиотеку заглянуть, которая была хороша и почти не пострадала...

А она, глупая, в гостиную... К беседам изящным. К рукоделию.

– Значит... – Евдокия вдруг осознала, что невероятно устала, не столько от их нападков, сколько от собственного покорного молчания, которое было ей вовсе не свойственно. – Значит, вы полагаете, что золото – от Хольма?

Бержана кивнула.

Медленно. Снисходительно. И с этаким... пренебрежением? Дескать, что еще ждать от купчихи...

– И ратуете за благочестие, дорогая сестрица? – Евдокия не отказала себе в удовольствии отметить, как дернулась щека Бержаны.

– Ратует, – подсказала Августа и модный журнал отложила.

Чего вычитала? Что ей понадобится? Веер из страусовых перьев? Или шляпка с дюжиной дроздов? Горжетка на кротовьем меху? Или новый корсет, который сделает ее еще стройней, еще тоньше? Экипаж? Лошади? Собственный выезд, чтобы как у взрослой дамы? Чемоданы из крокодиловой кожи, пусть бы и вовсе она не собирается путешествовать... или собирается с Богуславой на воды, да не наши, а заграничные... и на водах тех без чемоданов крокодиловошкурных отдыхать вовсе не возможно...

– Благочестие – вот истинная добродетель любой женщины, особенно – женщины знатного рода. Ибо сказано, что дева благородная благочестива и смиренна и свет ее души ярче света звездного, ярче солнца самого и светил иных. И не шелками она богата, но лишь делами добрыми...

Бержана уставилась на Евдокию холодным рыбьим взглядом.

– Та же, – медленно продолжила она, – которая позабудет о предназначении своем, отринув свет небесный по-за делами земными, будет наказана...

И в гостиной воцарилось тревожное молчание.

– Что ж, – Евдокия усмехнулась, – я рада, если тебе... дорогая сестрица, хватает малого. Полагаю, добрых дел ты совершила предостаточно...

Бержана важно кивнула.

О да, помнится, она обмолвилась о том, что состоит в благотворительном комитете.

И самолично вышивает салфетки для благотворительной ярмарки и учит детей-сирот

вышивке, и плетению кружев, и, кажется, созданию кукольной мебели...

...и чему-то еще, столь же ненужному...

– И я горжусь тем, что боги соединили нас узами родства. – Евдокия поклонилась, прижав ладони к груди, стараясь не слушать, как колотится нервно собственное ее сердце. – И зная о твоём тайном желании покинуть сей мир, всецело посвятить себя служению богам...

Младшие княжны синхронно вздохнули.

– ...имела беседу с настоятельницей монастыря Святой Бригитты... она будет рада принять тебя...

Бержана скривилась.

О да, монастырь Святой Бригитты... тихая скромная обитель, которую в народе именуют Домом Кающихся... принимают туда всех, вот только идут большей частью уличные девки в попытке переменить жизнь, и крестьянки, и вдовицы либо женщины одинокие, от одиночества уставшие.

– Эта обитель... – мрачно начала было Бержана.

– Скромна, – перебила Евдокия ее, – и весьма добродетельна. Они не так давно открыли больницу для бедных. И приют при ней. Я готова пожертвовать ему еще пять тысяч злотней... скажем, в качестве приданого невесты господней.

Бержана отложила шитье и сложила руки на груди.

Она думала.

Искала.

И злилась за то, что ее поймали в ловушку собственного благочестия. Увы, монастырь Святой Бригитты недостаточно хорош для княжны, ей хочется белых одежд и белых же деяний, совершать которые можно, сии одежды не пачкая. И желание это написано на челе Бержаны.

Как и честолюбивая мечта однажды стать не просто монахиней, но матерью настоятельницей...

...почему бы и нет?

...если у нее будут деньги... за нею будут деньги и связи семьи... а лучше двух семей, связанных брачной клятвой...

...и если бы Евдокия еще тогда, осенью, выслушав бессвязный лепет Бержаны о богах и предназначении, дала бы деньги, то...

...то их бы приняли как должное.

– Боюсь, я еще не столь добродетельна, чтобы идти путем мучеников, – произнесла Бержана и поднялась. – Полагаю, вы просто не способны понять, что женщина моего рода... моего происхождения... не может жить среди тех, кто...

– Беден?

– Бедность происходит единственно от лени или порока. – Катарина остановилась у камина, пустой зев которого был прикрыт ширмой. – Ибо сказано, что каждому воздастся по трудам его. Вот, к примеру, возьмем... вашу матушку... она ведь женщина простая... не поймите превратно, я вовсе не осуждаю, ибо мы не выбираем семью, в которой рождены, но праведным трудом и милостью богов ей удалось снискать благополучие для себя и своей семьи...

Наверное, это могло бы быть похвалой, если бы не слышалось за словами скрытое презрение? Или раздражение?

Ей, должно быть, обидно весьма, что, рожденная в княжеской семье, она вынуждена просить денег у купчихи. И эта Бержанина обида странным образом примиряла Евдокию с ней.

С ними всеми.

Она вдруг ясно поняла, что нелюбовь их происходит естественным образом от собственной несвободы, зависимости от ее, Евдокии, капризов.

А они ведь и вправду полагают ее капризной, вздорной и ничего-то не понимающей в нарядах.

– И вы честным своим трудом его укрепляете, тогда как люди иные, дурного свойства, тратят жизнь попусту... взять тех падших женщин, которые спешат укрыться в обители. Разве достойны они милости богов?

Бержана раскраснелась. И стала почти красива.

– А разве нет? – тихо поинтересовалась Евдокия.

– Они согрешили.

– Все грешат.

– Они отринули заветы Иржены, опорочили и тело свое, и бессмертную душу, а теперь мыслят, что стоит помолиться – и будут прощены. Но сколько правды в их молитвах? Сколько искренности?

Всяко побольше, чем в ее собственных, только говорить это Бержане нельзя. Не обидится – оскорбится смертельно, заподозрив, что Евдокия равняет ее с гулящими девками... или не самому сравнению, но тому, что сделано оно не в пользу Бержаны.

– Нет! Только тяжкий труд во благо общества способен искупить содеянное ими. – Она сложила тощие цыплячьи руки на груди.

– И где же им трудиться? – Евдокия провела пальцами по кружеву.

Жесткое какое... и накрахмаленные нитки будто проволока... если сжать в кулаке, то кружево захрустит... Кто его плел?

Кружевницы на той фабрике, которую матушка еще прикупила...

...и в рабочем поселке...

...и брали туда всех, кто готов был работать. Не во искупление призрачной вины, конечно, но за деньги. Пусть труд кружевниц был тяжек, но и платили за него щедро. Учили. И выучивали.

И было ли это благотворительностью? О том Евдокия не думала.

– В рабочих домах, – ответила Бержана, гордо вскинув голову. И на блеклой шее ее вспухли синие сосуды. – Вот прекрасный пример цивилизованного решения проблемы. Всех бедняков, а также грешников следует отправить в рабочие дома, где их будут кормить...

– ...проповедями, – тихо сказала Евдокия.

– А хоть бы и так! – Бержана не собиралась отступать. – Слово божие никому еще не вредило.

– Кроме слова божия людям многое еще надобно. К примеру, еда... одежда...

...сама жизнь, которая возможна вне клетки рабочего дома. Евдокии не случалось бывать в подобных заведениях, но матушка рассказывала... вот только вряд ли ее истории Бержану впечатлят.

Грешники – уже не люди.

И стоит ли тратиться на сочувствие им.

– Вы, дорогая Евдокия, вновь ставите материальные блага поперек духовных. Тогда

как сказано, что спасший душу обретет новую жизнь, тогда как спасший тело душу утратит... но, полагаю, в том не ваша вина. Вы с младенчества были приучены тело пестовать...

И надо полагать, распестовала она это тело так, что едва-едва в корсет оно помещается...

– А вы, дорогая сестрица, плоть умерщвляли.

– Я соблюдаю посты. – Острый подбородок Бержаны задрался так, что видна стала и родинка под ним, круглая, аккуратная, с торчащим из нее черным волоском. – И придерживаюсь умеренности во всем...

– Кроме веры.

– Вера не может быть неумеренной!

С этим Евдокия спорить не стала. Ни к чему...

– А вы что скажете, Богуслава? – Бержана обратилась к той, от которой ждала поддержки и понимания. – Вы ведь много занимаетесь благотворительностью...

Легкий наклон головы, надо полагать, согласие. И улыбка, преисполненная участия.

– Я полагаю, что судить – это дело богов. – Голос медвяный, сладкий до одури, и хочется слушать его, внимательно, чтобы ни словечка не пропустить... и даже не в словах дело, но в самом звучании этого голоса. – Людям же следует в меру сил соблюдать их заветы... и помогать оступившимся... я делаю ничтожно мало... вы, моя дорогая Бержана, говорили о золоте... золото я получила едино по праву рождения. И до того несчастного случая со мной полагала сие единственно возможным... правильным даже... я думала лишь о себе, о собственных желаниях... И к чему все привело?

Богуслава потупила взор.

И руки ее в кружевных перчатках дрогнули. Тонкие пальцы скользнули по изумрудному атласу, комкая... точно желая продрать плотную ткань.

Или содрать?

Евдокия с немалым трудом отвела взгляд.

– Но Иржена в своей милости преподала мне хороший урок... я поняла, что жизнь наша скоротечна, что душа беззащитна пред созданиями Хельма... и что путь праведных тяжел... да, признаюсь, я и сама думала о том, чтобы уйти от мира, но...

Ресницы дрожат.

А взгляд... не во взгляде дело, но в самих глазах, неестественно-зеленых, ярких чересчур.

– Мне не хватило смелости. Я слишком люблю эту жизнь... и вашего брата...

Ложь.

У лжи сладковатый вкус, но нынешняя горчит. И Евдокия касается собственных губ, слишком жестких, несмотря на все бальзамы и восковые помады, которыми ей приходится губы мазать в попытке сделать их хоть сколь бы подобающими даме ее положения.

Как же ненавидит она собственное это положение!

– И потому остается малое. Я помогаю иным... тем, о ком некому позаботиться... или тем, кто имел неосторожность оступить... мне ли осуждать их? Я ведь знаю, сколь сильны порой искушения... – Батистовый платочек у щеки.

И странно, что щека эта белей платочка.

А слез нет. И сам платочек этот – часть представления. Вот только для кого его играют? Для Бержаны, которая глядит на Богуславу с восторгом, едва ли не как на святую... для Евдокии? Для близняшек, которые застыли, склонив головы друг к другу...

– В моем приюте примут всех... и дадут укрытие. Накормят. Утешат. Научат полезному делу... а после обучения определяют в хорошее место. Я сама беру девушек в свой дом горничными, а после, когда вижу, что они освоились, даю им рекомендации...

– Вы так добры! – хором выдохнули Августа с Катариной.

Добра.

И странно, ведь не вяжется эта доброта с обличем Богуславы. Никак не вяжется, однако же...

...есть приют, о нем писали газеты.

...и Евдокии пришлось побывать на открытии, потому как она ведь родственница ныне...

...будущая княгиня...

...княгине надобно заниматься благотворительностью и делать это правильно, не роняя своего, княжеского, достоинства...

– Более того, – платочек выпал из пальцев Богуславы, – я помогаю этим девушкам устроить свою жизнь... кому, как не мне, знать, что истинное счастье женщины – в ее семье. Я хочу, чтобы мои подопечные были счастливы...

...снова ложь.

Но в чем? И не может ли случиться такое, что Евдокия в своей иррациональной неприязни отвергает поистине доброго человека? И пускай Богуслава надменна, но так она, в отличие от Евдокии, урожденная княжна...

– Я пригласила сваху... хорошую проверенную женщину, которая осознает все тонкости... положения моих подопечных...

– И у нее получается? – шепотом поинтересовалась Августа.

А Катарина кивнула, присоединяясь к вопросу.

– Получается. Конечно, не в Познаньске... здесь мужчины избалованны. Кому нужна бесприданница? А вот на границе... там трудолюбивую сироту встретят с радостью...

Наверное, она бы еще рассказала о границе ли, о приюте и его обитательницах, но дверь в гостиную распахнулась.

– Доброго вечера, дамы. – Себастьян отвесил шутовской поклон. – Хотелось бы надеяться, что вы мне рады, но давно уже не тешу себя иллюзиями...

Бержана поморщилась.

Катарина с Августой вздохнули.

– Себастьян такой...

– ...невежливый.

– ...совершенно невоспитанный...

– ...мы здесь беседуем...

Они говорили по очереди, в этой речи дополняя друг друга.

– Бержана, ты с прошлой нашей встречи стала еще благочестивей. – Себастьян поцеловал сестре ручку, близняшкам кивнул, а Богуславу и вовсе будто бы не заметил.

– С чего ты взял?

Как ни странно, но Бержана зарозовелась, верно, эта похвала была ей приятна.

– Чувствую, – вполне серьезно сказал Себастьян и, отстранившись, внимательно оглядел сестру. – Ты уж поаккуратней, дорогая... а то этак и нимб скоро воссияет...

– Какой нимб? – Улыбка Бержаны мигом исчезла.

А вот румянец сделался красным, болезненным.

– Обыкновенный. Такой, знаешь... – Себастьян поднял над головой растопыренную ладонь. – Нимб, конечно, не рога... но сомневаюсь, что к нему в обществе с пониманием отнесутся.

– Ты... все шутишь!

– Стараюсь.

Близняшки вновь вздохнули.

– А вы, дорогие, смотрите, цветете, что майские розы... сиречь пышно и бессмысленно... Впрочем, я ж не о том... то есть о том тоже, но это к случаю. Дусенька, отрада сердца моего... а также разума, которому общение со слабым полом всегда дается тяжело, не соблаговолишь ли ты уделить мне минуту твоего драгоценного времени? Можно пять. От десяти тоже не откажусь.

Себастьян оказался вдруг рядом. Руку подал. И хвост его скользнул по юбкам.

– А мне вы ничего не хотите сказать... любезный родственник? – Голос Богуславы утратил прежнюю сладость.

Теперь каждое произнесенное ею слово отдавалось в висках тянущей болью.

– Ничего. – Себастьян рывком поднял Евдокию. – Боюсь, у нас с вами не осталось общих тем...

– Пока не осталось.

– В принципе, – жестко отрезал он.

– Вы злитесь... интересно, что же стало причиной вашей злости? И почему вы готовы обвинить во всем меня?

Ноющий тон. Зудящий. Будто комар над самым ухом вьется... и Себастьян тоже слышит этого комара. Встряхивает головой и, стиснув зубы, бросает:

– Прекратите...

– Что прекратить?

Богуслава улыбается. У нее белые красивые зубы, и почему-то за этими зубами Евдокия не видит лица.

– Вы знаете. – Ненаследный князь держал за руку крепко, и, пожалуй, Евдокия была ему благодарна. – Или вам помочь? Знаете... ходят слухи, что в Совет подали проект... об особом учете лиц, наделенных даром... и о мерах, направленных на выявление оных лиц...

– Разве это не замечательно? – Улыбка Богуславы стала шире. Ярче.

– А еще об ограничениях... ведьмаков и колдовок надобно контролировать... особенно колдовок.

Себастьян произнес это медленно, глядя в глаза.

– Вы что, намекаете, будто бы я... – притворный ужас.

И оскорбленная невинность, которая фальшива насквозь. Невинность у Богуславы плохо получается играть...

– Себастьян, дорогой. Вы только скажите, и я завтра же... сегодня пройду освидетельствования... – И вновь платочек батистовый в пальцах. – Мне оскорбительны подобные подозрения, но я понимаю, что после всего... у вас есть причины меня ненавидеть...

– Себастьян, ты поступаешь дурно! – возвестила Бержана, должно быть уже сроднившаяся с мыслью о нимбе. – Богуслава – пример многих добродетелей...

Близняшки кивнули.

А ненаследный князь, стиснув пальцы Евдокии, пробормотал:

– Идем, пока я не сорвался... нервы, чтоб они...

– Он стал совершенно невозможен... – донеслось в спину. – Я слышала, что они были любовниками...

Уши вспыхнули. И щеки. И вся Евдокия, надо полагать, от макушки до самых пяток.

– Спокойно, – не очень спокойным тоном произнес князь, к слову тоже покраснев. А Евдокия и не знала, что он в принципе краснеть способный. – Мои сестрицы в своем репертуаре...

Он шел быстрым шагом, не выпуская Евдокииной руки. И ей пришлось подхватить юбки, которых вдруг стало как-то слишком уж много.

Слуги сторонились. Провожали взглядами. И если так, то... сплетни пойдут...

Себастьян меж тем свернул в коридор боковой, темный, и дверь открыл.

– Прощу вас, панна Евдокия...

И снова коридор.

Дверь.

И пустая комната с голыми стенами. Темный пол. Белый потолок.

Узкие окна забраны решетками. Запах странный, тяжелый, какой бывает в нежилом помещении, то ли пыли, то ли плесени, а может, и того, и другого сразу.

Себастьян дверь прикрыл. И засов изнутри задвинул.

Вот как это понимать? Будь Евдокия особой более мнительного склада, она бы всенепременно возомнила бы себе нечто в высшей степени непристойное.

...хотя куда уж непристойней-то?

Наедине. С мужчиной... пусть родственником, но не кровным... и с его-то репутацией...

...и с собственной, Евдокии, напрочь отсутствующей.

– В заговор меня вовлечь решили? – поинтересовалась Евдокия, заставив себя успокоиться.

Лихо не поверит. Он всегда смеялся над слухами... а уж о нем-то самом после той статьи чего только не писали...

– Почему сразу в заговор? – Себастьян одернул белый свой пиджак.

Костюм на нем сидел, следовало сказать, отменно. Вот только выглядел Себастьян несколько... взъерошенным? И бледен нехарактерно, даже не бледен – сероват. Щеки запали. Скулы заострились. И нос заострился тоже, сделавшись похожим на клюв.

– А потому как в таких помещениях только заговоры и устраивать... и еще козни плести. – Евдокия успела оглядеться.

А ведь некогда мебель была... и ковер на полу лежал... и на стенах висели картины... куда подевались? А известно куда, туда, куда и большая часть ценных вещей, каковые были в этом доме.

– Козни... козни строить – дело хорошее. – Себастьян подошел к двери на цыпочках и прижал к губам палец. Наклонился. Прислушался.

Кончик носа у него дернулся, точно Себастьян не только прислушивался, но и принимался.

– Вот же... любопытные... идем. – Он в два шага пересек комнату, взлетел на подоконник и что-то нажал, отчего окно отворилось вместе с кованой рамой. – Евдокиюшка... ну что ты мнешься? Можно подумать, в первый раз...

– Что в первый раз? – Радость от этой встречи – а Евдокия вынуждена была признаться

себе самой, что ненаследного князя она рада видеть, – куда-то исчезла, сменившись глухим раздражением.

И главное, ни одного канделябра под рукой...

– Через окно лезть, – шепотом ответил Себастьян, который на подоконнике устроился вольготно и этак еще ручку протянул, приглашая присоединиться.

А главное, что отказать не выйдет.

Нет, конечно, можно потребовать... чего-нибудь этакого потребовать... скажем, дверь открыть, обратиться из этой странной комнаты в иную, более подходящую для беседы.

Вот только чуяла Евдокия, что эти фокусы неспроста. И как знать, о чем разговор пойдет. А потому вздохнула, сунула веер под мышку и юбки подобрала.

– Отвернись, – буркнула.

– Увы, это выше моих сил!

На подоконник он Евдокию втянул, а после помог спуститься.

– Лихо так из дому сбегал... мне вот и рассказал...

– А зачем нам сбегать?

Сад.

И кусты роз, которые разрослись густо, переплелись колючими ветвями, сотворив непреодолимую стену. Во всяком случае, у Евдокии не появилось ни малейшего желания ее преодолевать. А Себастьян знай шагал себе по узенькой дорожке, которую выискивал, верно, наугад, и заговаривать не спешил.

Остановился он у крохотного прудика, темную поверхность которого затянуло ряской.

– Может, конечно, и незачем... а может... – замолчал, вздохнул, и хвост змеей скользнул по нестриженной траве. – Евдокиюшка... друг ты мой сердешный... скажи, будь добра, что вчерашнюю ночь мой драгоценный братец провел в твоих объятиях. И желательно, что объятий этих ты не размыкала ни на секунду.

– Скажу.

– Вот и ладно... а на самом деле?

Вот что он за человек такой? Почему бы ему не удовлетвориться этаким ответом?

– Что произошло?

Замялся, прикусил мизинец, но ответил:

– Убийство.

– И Лихо...

– Волкодлак в городе.

Сердце ухнуло в пятки, а может, и ниже, на зеленую влажную траву, в которой виднелись голубые звездочки незабудок.

– И на Лихо подумают. – Евдокия слышала себя словно бы со стороны. Глухой некрасивый голос, встревоженный, если не сказать – изломанный.

– Подумают... но наше дело – доказать, что он не убивал... то есть что убивал не он. А потому, Евдокия, я должен знать правду. Где он был?

– Не знаю.

– Дуся...

– Я и вправду не знаю. – Как ему объяснить то, что Евдокия не могла объяснить самой себе?

Себастьян не торопит. Стал, руки скрестил, и только кончик хвоста подергивается, аккурат как у кошки, за воробьями следящего... нет, себя Евдокия воробьем не чувствовала,

скорее уж курицей, которая погрязла во всех женских проблемах сразу...

– Он... в поместье остался... реорганизация... и дел много... – Боги все милостивейшие, что она лепечет? Вернее, почему лепечет, будто провинившаяся гимназисточка перед классною дамой.

Вот уж на кого Себастьян не похож совершенно.

И правду ведь сказала!

Себастьян склонил голову.

– И... часто он остается в поместье ночевать?

Осторожный такой вопрос.

Не из пустого любопытства задан, и потому ответить придется честно:

– В последние месяцы часто...

– В полнолуние?

– Нет... не только... – Евдокия обняла себя, приказывая успокоиться.

Глубоко вдохнула. Настолько глубоко, насколько корсет позволил.

И подумалось, что зря Евдокия его купила. Как-то ведь прожила двадцать семь лет без корсета, и даже двадцать восемь, а тут вдруг... мода, понимаешь ли. И очередная ее неуклюжая попытка стать кем-то, кем она, Евдокия Парфеновна, не является.

– Все началось с весны... не с ранней, с месяца kwietnia где-то... с середины... он беспокойный сделался... я спрашивала, а он говорит, что за сестер переживает... и за отца, который опять играть начал... к Лихо пошли кредиторы... еще и с поместьем... много забот по весне. У меня же магазины и производство... за ним тоже приглядывать надобно...

Тяжело рассказывать, верно, оттого, что сама Евдокия не понимает, когда и, главное, как случилось, что ее Лихо вдруг переменялся.

Разом.

– Ясно, – задумчиво протянул Себастьян и ущипнул себя за подбородок. – Ясно, что ничего не ясно...

– Чего тут не ясно-то? – Евдокия выдохнула и мазнула ладонью по сухим щекам. – Он понял, что я не та женщина, из которой получится хорошая жена...

– Евдокиюшка, солнце ты мое ненаглядное. – Себастьян вновь оказался рядом, и хвост его раздраженно щелкнул по атласным юбкам. – Не разочаровывай меня. С чего тебе в голову этакая престранная мысль пришла?

– А разве нет?

От Себастьяна пахло касторкой.

И еще чистецом, который Евдокиина нянюшка заваривала, когда животом маялась, и запах травы, резкий, едкий, пробивался через аромат дорогой кельнской воды, причудливым образом его дополняя.

– Как по мне, Евдокиюшка, – Себастьян приобнял ее и наклонился к самому уху, – то твоя беда в том, что ты сейчас пытаешься влезть в чужую шкуру... а оно тебе надо?

Шкура была атласной. Из дорогой лоснящейся ткани. И тесной до невозможности. В ней и дышалось-то с трудом, а любое, самого простого свойства движение и вовсе превращалось в подвиг. Впрочем, благородной даме, на чье чело давит княжеский венец, двигаться надлежало мало, в каждом малом жесте выражая собственное величие...

– Не надо, – сам себе ответил Себастьян. – Я так понимаю, мои сестрицы на тебя дурно повлияли... вот скажи мне, звезда очей моих, сколь часто ты здесь бываешь?

– Раз в неделю...

– Раз в неделю. – Себастьян укоризненно покачал головой. – Я от силы раз в полгода, а то и реже... а теперь скажи, доставляют ли тебе сии визиты удовольствие?

Евдокия фыркнула.

– Значит, нет... Тогда, быть может, тебе больше заняться нечем?

Дел у нее имелось сполна...

– Вот. – Себастьян руку убрал и отстранился. – Итого, что мы имеем? А имеем некую, с позволения сказать, престранную тягу к общению с людьми неприятными, которым в радость сделать тебе больно... И вот ответ мне, Евдокиюшка, чего ради?

– Ты знаешь.

– Не знаю. – Ненаследный князь перекинул хвост через руку и кисточку погладил. – Ради Лихослава? А он тебя о том просил?

– Нет.

– Или, быть может, упоминал, что тебе следует подружиться с нашими сестрицами?

– Н-нет...

– Итак, не просил, не упоминал даже... А знаешь почему, Евдокиюшка? А потому как он распрекрасно понимает, что сия дружба невозможна.

– Я недостаточно хороша?

– Они недостаточно хороши... а если серьезно, то вы слишком разные. И да, происхождение играет свою роль... а также воспитание. Характер. Привычки. Мечты и желания...

– Ты сегодня на редкость красноречив.

– Стараюсь.

Он не улыбнулся и глядел серьезно, так, что от этого взгляда стало не по себе.

– Евдокия, скажи, тебе и вправду так хочется стать похожей на них? Целыми днями сидеть и перебирать, что бисер, что сплетни... кто и с кем встречается, кто и с кем рассорился... кто на ком вот-вот женится или не женится... это интересно?

– Нет.

– И шляпки с веерами тоже, надеюсь, душу не греют?

– Нет такой женской души, которую не согрела бы шляпка. Не говоря уже про веер...

Себастьян рассмеялся.

– Я ведь не о том!

– Не о том. – Евдокия вынуждена была согласиться. А соглашаться с сим высокомерным типом ей не позволяла гордость, вернее, те ее остатки, которые еще были живы. – Ты... возможно... и прав, но... теперь я – часть этой семьи...

– Как и я...

– Да, но... я должна...

– Кому и что? – вкрадчиво поинтересовался Себастьян. – Евдокиюшка, единственное, чего они от тебя ждут, это деньги. И я подозреваю, что об этом ты уже догадалась. А остальное... ты хоть всю подборку «Салона» наизусть вызубри, одной из них не станешь. К счастью.

– Они родичи!

– Не твои. Мои. Лихослава. И да, у него чувство долга по отношению к родне переходит все разумные пределы, но... ты-то здесь ни при чем! Не мучь себя. Не мучь его.

– Я его...

– Не мучишь? Разве? Ты старательно прячешь себя прежнюю, потому как тебе, вроде бы неглупой женщине, вбили в голову, что та Евдокия Парфеновна нехороша для высшего света... Если тебе нужен высший свет, тогда да, меняйся. А если мой бестолковый братец, то вернись. Он ведь полюбил девицу с тяжелой рукой и револьвером...

– Револьвер и сейчас при мне.

– Замечательно! – Себастьян расплылся в улыбке. – И держи его под рукой... а эту дурость брось. И сестриц моих не слушай... у них головы кисеей набиты... а сердца, подозреваю, и вовсе плюшевые.

– Почему?

– Потому. – Ненаследный князь сложил руки за спину и отвернулся. – Ты ведь матушке моей писала...

– Д-да... не надо было?

– Спасибо... а вот они – нет... репутацию им, видите ли, испортила... знать больше не хотят... не становись на них похожей, Евдокия. Ладно?

– Постараюсь.

Почему-то после этого разговора на душе стало легко-легко... Плюшевое сердце? Евдокия прижала ладонь к груди. Не плюшевое – живое еще и, знать, поэтому болело, беспокоилось. А ныне стучит быстро-быстро, тревожно.

– Лихо...

– Я с ним сам поговорю... – Себастьян развернулся было, но Евдокия его остановила.

– Стой. погоди. То убийство... Быть может, нам стоит пока уехать?

Он задумался, но покачал головой:

– Поздно. Теперь если исчезнет, то скажут – сбежал. А что есть побег как не признание вины? Нет, Евдокиюшка, надо искать настоящего убийцу.

– И ты...

– Найду, только сначала выясню, где мой дорогой братец по ночам пропадает. Но идем... и не приезжай больше сюда. Не надо оно... увидишь, сами к тебе придут. А в своем доме ты хозяйка.

...ее дом.

...славный старый дом на Чистяковой улочке, купленный у вдовицы... от нее в доме остался запах мурмеладу, который вдовица варила из крупных красных яблок, щедро сдабривая корицей. И, разливая по склянкам, аккуратно подписывала каждую. В подвале выстроились целые ряды склянок.

А на чердаке – коробка с кружевными салфетками.

Окна дома выходили на Старую площадь, в народе именуемую Кутузкиной, не из-за тюрьмы, но из-за памятника графу Кутузкину... Он стоял окруженный старыми тополями, покрытый благородною патиной и печально гляделся в мутные воды фонтана...

О доме стоило вспомнить.

И Евдокия улыбнулась, что воспоминаниям, что собственным мыслям. Она ведь была счастлива... и будет... конечно, будет, ведь счастье стоит того, чтобы за него повоевать.

Войны же Евдокия не боится. У нее вот револьвер есть.

– погоди... – Она не позволила Себастьяну уйти. – Богуслава... с ней что-то неладно.

Помрачнел.

– Я не могу сказать, что именно, но... рядом с нею плохо. И мигрень начинается... и ее слушают... я не уверена, что это чародейство... и, быть может, злословлю, но она говорила

о приюте, и...

Евдокия замолчала, не умея объяснить собственное смутное беспокойство.

– Приют проверяли трижды, – вынужден был признать Себастьян. – Ничего. Там все чисто и благостно, как на свежем погосте... то есть никаких правонарушений. Есть девицы. Есть наставницы. Сидят, крестиком скатерочки вышивают, рубахи сиротам чинят, молятся хором...

– А те, которые... уехали?

Себастьян развел руками:

– Проверяли по спискам... отсюда уехали, а там, куда уезжали, то и прибыли... Евдокия, я ж тоже не дурак, мыслю. И не нравится мне ни она, ни приют ее. Но повода, такого, чтоб настоящий, закрыть это богоугодное заведение я не имею... Я беседовал с девицами... сам, по своей инициативе, так сказать... все в голос ее славят. Этак впору и поверить, что на нее и вправду милость богов снизошла.

– Но ты не веришь?

– Как и ты?

– Так заметно?

– Теперь – да... и пускай будет. Тебе не обязательно дружить с Богуславой... Скажу так, этаких друзей поболее, нежели врагов, опасаться надобно. В лицо будут улыбаться, в спину нож воткнут, а после скажут, что так оно и было...

Об этих словах Себастьяна Евдокия вспомнит позже, когда столкнется с Богуславой в холле старого особняка. Та будет одна, без свиты из княжон Вевельских, но и одиночество ей пойдет.

Евдокия поразится тому, сколь чудесно вписывается Богуслава Вевельская в интерьеры старого дома. И песцовый палантин на плечах ее будет донельзя походить на княжескую мантию, а диадема в рыжих волосах почти неотличима от венца...

И князя с родовых портретов будут взирать на Богуславу весьма благосклонно.

– Вижу, прогулка удалась, – скажет она низким голосом, в котором Евдокии послышится рычание.

Эхо. Всего-то эхо, рожденное пустотой.

В старом особняке ныне множество пустот, и звуков он рождает тоже немало.

– Вы так стремительно исчезли... – Богуслава коснется губ сложенным веером. – И так долго отсутствовали... мы, признаться, даже начали беспокоиться.

– Не следовало.

Богуслава не услышала. Она улыбалась собственным мыслям, в которые Евдокия не отказалась бы заглянуть, хотя и подозревала, что ничего-то для себя лестного в них не увидит.

– Позвольте дать вам совет. – Богуслава почти позволила ей дойти до лестницы. – Будьте осторожны... женщина вашего положения должна иметь безупречную репутацию...

Евдокия оперлась на перила, широкие и гладкие, украшенные традиционными завитушками и бронзовыми пластинами, которые, правда, нуждались в чистке.

Промолчать? Не сейчас.

– На что вы намекаете?

– Я не имею привычки намекать. – Богуслава провела пальчиком по палантину, оставляя на белом мехе белый след. – Я говорю прямо. Ночная прогулка в компании мужчины... столь сомнительных моральных качеств... если об этом происшествии узнают, то дадут ему весьма

однозначную трактовку... а добавить, что вернулись вы в платье измятом... грязном... и прическа в некотором беспорядке...

Евдокия коснулась было волос, но тут же одернула себя: хватит. В беспорядке? Пускай. Платье измято? Есть немного... и на подоле влажные пятна, поскольку вел Себастьян окольными тропами, по нестриженным лужайкам, а то и вовсе напрямиком через кусты...

– Узнают? – переспросила Евдокия, прижимая локтем ридикюль, сквозь тонкие стенки которого явственно ощущалась холодная сталь револьвера.

А ведь смешно... в гости к родственникам да при оружии... матушка бы не одобрила.

Или наоборот?

Наверное, сказала бы, что, значит, родственники такие... а Евдокия – дура, ежели старалась в дружбу играть.

– И откуда, простите, узнают?

– Мало ли... – Богуслава ответила безмятежной улыбкой. – Слуги расскажут...

– Или вы...

– Намекаете, что я...

– Говорю прямо, раз вы уж намеки не любите. – Евдокия усмехнулась. – Я вам не по вкусу, верно?

Богуслава повела плечиком, и меховой палантин соскользнул, обнажая его, острое, мраморно-белое.

– Вы сами желали выйти замуж за Лихо...

– Отнюдь, Дусенька. Я желала выйти замуж за князя, а кто уж этим князем будет – дело третье... или четвертое... не важно. Но в остальном... да, вы мне не симпатичны. Видите ли, я испытываю глубокую антипатию к женщинам, вам подобным...

– Это каким же?

– Наглым. Бесцеремонным. Полагающим, будто бы деньги дают им какие-то права... делают равными...

Она поправила съехавший палантин.

– Вы и подобные вам рветесь к власти... пытаетесь зацепиться на вершине, не замечая, до чего смешны...

– Лучше смеяться, чем плакать, – пробормотала Евдокия, но не была услышана.

– Ты купила себе мужа... и платье купила... и драгоценностями можешь обвеситься с головы до ног. Но правда в том, что никакие драгоценности не исправят тебя. Ты как была купчихой, так ею и осталась... твое место – в лавке, среди унитазов. И потому, дорогая Дусенька, я даже не могу винить твоего мужа за то, что он завел себе любовницу.

Прав был Себастьян.

Нож.

Слово тоже может быть ножом, и пусть не в спину, в лицо, но в самое сердце.

– Ложь. – Евдокия заставила себя выдержать взгляд Богуславы, и колдовкина зелень ее глаз в кои-то веки показалась отвратительной. Болотной.

Богуслава хотела сказать что-то еще, но губы дрогнули. Сложились в улыбку.

И захотелось стереть ее, вцепиться ногтями в лицо, разукрасить его царапинами, выдрать клочья рыжих волос и катать по полу с визгом, с руганью...

...не по-княжески.

Зато действительно...

– Что ж, – Евдокия поднялась на ступеньку, – я рада, что мы наконец все выяснили.

Богуслава ответила величественным кивком. Верно, слова, каковые можно было бы потратить на никчемную купчиху, у нее закончились.

И к лучшему оно.

Глава 5, где случается разное, но явно недоброго толку

Каждый берет от жизни то, что надо другим.

Спорное утверждение, имеющее, однако, немало сторонников и помимо студиязусов философского факультету

Отец Себастьяну не обрадовался. Тадеуш Вевельский на приветствие ответил взмахом руки и, отломив столбик пепла с сигары, вяло произнес:

– Мог бы и предупредить о своем визите...

– Ну что ты, батюшка, и узнать, что ты или болен, или в отъезде? – Себастьян вдохнул горький дым.

В курительной комнате ничего-то не изменилось. Кофейного колера обои. И старая мебель с бронзовыми вставками. Низкий столик, карты рассыпью и стопка фишек перед отцовским местом. Выиграл? Пусть не на деньги игра, но и этот малый успех весьма радовал Тадеуша Вевельского, приводя его в преблагостное расположение духа.

Правда, появление старшего отпрыска благости поубавило, но...

– Мне кажется, дорогой мой папа, – Себастьян произнес слово с ударом на последнем слоге, – что вы меня избегаете.

– Кажется, – не моргнув глазом, ответил Тадеуш.

И с радостью немалой продолжил бы избегать.

– Я рад это слышать! – воскликнул Себастьян и пнул низкое кресло, в котором устроился Велеслав. – Уступи место старшим...

Велеслав побагровел, но поднялся.

– Вы же представить себе не можете, как я мучился!

Он вытянул тощие ноги, и треклятый хвост, от самого вида которого князя Вевельского передергивало, устроил на коленях. Притом, что его, чешуйчатый, отвратительный, Себастьян еще и поглаживал.

Извращенец.

– Как? – высунулся со своего угла Яцек. И темные глаза блеснули.

– Страшно, Яцек. Страшно! Я даже начал подозревать, что папа меня не любит!

Князь Вевельский почувствовал, что краснеет.

– Но теперь я уже склоняюсь к мысли, что ошибся...

– Ошибся, – подтвердил князь, пытаясь сообразить, что именно привело Себастьяна в отчий дом. Он надеялся, что дело вовсе не в клубных делах... и не в той певичке, которая одарила его своей благосклонностью... не даром, естественно...

Следовало признать, что чем старше он становился, тем дороже эта самая женская благосклонность обходилась... и ведь пришлось занимать...

...а все почему?

Потому что Лихо, бестолочь, контракт подписал... честный он больно.

И что с этой честностью делать? На векселя ее не изведешь.

– Я несказанно рад, дорогой мой папа! – Себастьян сидел вальяжно, и ногой покачивал,

и выглядел до отвращения довольным собой. – Раскол в семье – дело дурное... а скажи-ка, будь так ласкав, где же братец мой разлюбимый...

– Который? – Тадеуш с трудом сдерживал внезапно нахлынувшее раздражение. Он и сам не мог бы сказать, что же именно было истинной его причиной. То ли что сын его старший не спешил подчиняться родительской воле, но глядел на отца сверху вниз, с этакой насмешечкой, а то и вовсе – презрением, то ли что он не поспешил отречься от Ангелины, которая в своем втором замужестве посмела быть счастливой, о чем и писала пространные письма, верно, из желания позлить бывшего супруга, то ли просто сам по себе.

Чужой он. Непонятный.

– Это который? – поинтересовался Велеслав.

Он успел выпить и оттого чувствовал себя престранно. С одной стороны, старшего брата Велеслав не то чтобы боялся – он не боялся никого и ничего, как и подобает королевскому улану, – разумно опасался, с другой – Себастьянов наглый вид и особенно хвост его вызывали вполне естественное в Велеславовом понимании желание дать братцу в морду.

Может, конечно, хвост и не самый лучший повод для мордобития, но и не худший.

– Лихослав. – Себастьян развернулся к братцу, на круглой физии которого была написана вся палитра испытываемых им чувств.

И раздражение.

И отвращение.

И вовсе не характерная для Велеслава задумчивость.

– Так это... он ушел, – наконец соизволил сказать он, и Тадеуш кивнул, подтверждая слова сына.

– И давно ушел?

Вопрос Себастьяна прозвучал тихо, но услышали его все, и Яцек из своего угла дернулся было, чтобы ответить, но был остановлен ленивым взмахом княжеской руки.

– Давно. – Тадеуш сгреб фишки.

– Ага, – подтвердил Велеслав. – Гордый он... и пить не захотел, и играть не захотел... сказал, что, мол, дела у него неотложные...

Врет.

– Вот так взял и ушел? Невежливо как... и жену свою оставил...

Яцек вновь открыл было рот, но Велеслав поспешил с ответом:

– Так... сказал, чтоб, мол, приглядели... он вернется...

– И ты не стал спрашивать, куда он ушел?

Не стал, потому как знал, но Себастьяну не скажет... или... Велеслав с отцом обменялись быстрыми взглядами. И Тадеуш, тасуя карты, лениво произнес:

– Мало ли куда надобно уйти мужчине так, чтобы жена о том не ведала?

– Мало.

Себастьян поднялся.

– Видите ли, дорогой папа, Лихослав, к счастью, не в вас пошел...

Тадеуш лишь плечами пожал. Ему было все равно.

Или казалось, что ему было все равно?

Яцек вышел следом за Себастьяном и дверь придержал, прикрыл аккуратно. Выглядел младший братец донельзя виноватым.

– Ну? – Себастьян чувствовал, что вот-вот сорвется.

Он устал. И голова болела. И не только голова, но и желудок, который с утра ничего-то, помимо овсянки, на воде сваренной, не видел. А овсянка на воде еще никому хорошего настроения не прибавляла.

Дом злил.

Отец.

Велеслав, который что-то задумал, и не сам, потому как сам он категорически думать не способен. Богуслава... она не колдовка, ведь проверяли, и не единожды, но уже и не человек в полном смысле.

Еще и Яцек мнется, краснеет...

– Мне кажется, я знаю, где Лихослав...

Он покраснел еще сильнее. Уши и вовсе пунцовыми сделались, а на щеках проступили белые пятна. И Яцек волнуется, потому как не привык до сих пор к этой скрытой семейной войне, и знать не знает, под чьи стяги становиться.

Ему хочется мира. Только и он уже понимает, что мир невозможен.

А Себастьяну надо бы мягче... брат все-таки...

– Я... я видел его у конюшен... подошел спросить... думал, что, может, ему плохо... а он зарычал и... и велел убираться.

Яцек вздохнул.

– Я бы не ушел. Только там Велеслав появился... и сказал, что приглядит, что... Лихо... он на порошок счастья подсел... еще там, на Серых землях... он борется, только не выходит. Об этом никто не знает и знать не должен... и мне тоже молчать надо. Велеслав посидит рядом, пока ему... пока лучше не станет. А меня отец заждался уже...

– А он заждался?

– Не знаю... ругался, что я поздно... а так больше ничего...

...если бы Яцек не появился вовсе, его отсутствие вряд ли бы заметили. Но его беда в том, что он появился весьма не вовремя.

– Мне не надо было уходить?

– Идем, – решил Себастьян. – Покажешь, где...

И Яцек коротко кивнул. Он чувствовал себя виноватым, пусть и внятно не мог бы сказать, в чем же именно его вина состоит. В том, что ушел? Или в том, что не сохранил чужую тайну?

Но Себастьяну было не до размышлений.

Порошок, значит... в том, что Лихо порошок сей пробовал, Себастьян не сомневался. Но пробовать – одно, а сидеть – другое. Он бы заметил... точно заметил. Или не он, но Евдокия... те, которые на порошке сидят, меняются... а она сказала, что за последние месяцы Лихо крепко переменялся...

...или он не сам, но его подсадили? Подсыпали раз, другой, а потом...

Нет, с выводами спешить не следовало.

Яцек вел окольной тропой, тоже спешил.

Тощий. И высокий, едва ли не выше Себастьяна. И уланский мундир на нем висит, а штаны и вовсе мешком, пусть и затягивает Яцек ремень до последней дырочки. Ничего, пройдет.

Себастьян себя таким вот помнит, только, пожалуй, наглости в нем было куда побольше и самоуверенности...

– Тебя надолго отпустили? – Молчание сделалось невыносимым.

– К утреннему построению должен вернуться.

– Вернешься.

Яцек вздохнул.

– Тебе вообще служба нравится?

Он покачал головой и признался:

– Не особо.

– Тогда зачем пошел?

Конюшни были старыми, построенными еще в те далекие времена, когда и сам Познаньск, и Княжий посад только-только появились. И если дом не единожды перестраивали, то конюшни так и остались – длинными приземистыми строениями из серого булыжника. Помнится, в прежние времена Себастьяну казалось, что строения эти достоят до самой гибели мира, а может, и после останутся, уж больно надежны.

Правда, коней здесь ныне держали не сотню, а всего-то с дюжину. Оттого и переделали левое здание под хранилище. Держали в нем что сено, что тюки золотой соломы для лошадок простых, что опилки, которые сыпали в денники господским жеребцам. Нашлось местечко и для старой упряжи.

А под крышей вместе с голубями поселились мальчишки-конюхи.

– Да... отец сказал. Я в университет поступить хотел, – признался Яцек, остановившись. – На правоведа... а он сказал, что среди князей Вевельских никогда крючкотворов не было и не будет... Я все равно хотел, но как без содержания? Мне стипендия не положена... и жилье тоже не положено... и вот...

– А ко мне почему не пришел?

Яцек вздохнул.

Понятно. Потому и не пришел, что стыдился такого своего выбора. И денег, в отличие от Велеслава, просить не умел.

– Послушай, – Себастьян редко испытывал угрызения совести, – если не передумаешь, то я помогу...

– Но...

– Если действительно хочешь. Отца не особо слушай, он много о княжеской чести говорит, да только мало делает. Уже взрослый, сам понимать должен.

Яцек тяжело вздохнул.

Понимает.

Небось доходили сплетни всякие да разные, и злили, и обижали... Сам-то Себастьян к батюшке завсегда с немалым подозрением относился и ничего-то хорошего от него не ждал, но Яцек – дело иное.

– Так вот, жизнь твоя и тебе решать, какой она будет. А как решишь, то скажи... с деньгами я помогу. И Лихо, думаю, не откажется... да и Евдокия против не будет. Семейный законник – человек в высшей степени полезительный...

– Он тут сидел. – Яцек указал на старую бочку у дверей конюшни.

Над бочкой висел старый же масляный фонарь. Под закопченным колпаком трепетало пламя, и отсветы его ложились что на бугристую стену, что на жухлую траву.

Пахло сладко, но не розами.

Себастьян присел.

Трава жесткая, будто бы одревесневшая, и ломается под пальцами, а острое былье так и норовит впитаться в кожу. А земля мягкая, что пирог непропеченный. И больная словно бы,

цепляется за когти белесыми корнями, а может, и не корнями вовсе, но паутиной... откуда паутина под землю?

Себастьян аккуратно вытер пальцы платочком, который сложил и убрал в карман. Аврелий Яковлевич разберется... хотелось бы верить, что Аврелий Яковлевич во всем разберется.

Пальцы жгло.

Себастьян поднес их к фонарю: красные, точно опаленные, и мелкая чешуя пробивается, спешит защитить... от чего?

– Ты что? – Яцек посторонился, когда Себастьян вскочил на бочку.

– Ничего...

Керосина в фонаре оставалось на две трети.

Себастьян плескал его щедро, горстями. Яцек не спешил помогать, но и не мешал, верно, рассудив, что ежели старший брат вдруг обезумел, то это исключительно его личное дело. Этакую позицию Себастьян всецело одобрял.

– А теперь отойди...

Полыхнуло знатно.

И пламя поползло по керосиновому пятну, изначально рыжее, оно как-то быстро сменило окрас, сделавшись темным, черным почти. И спешило, растекалось, грозя добраться до Себастьяна.

– Что это...

– Понятия не имею. – Себастьян на всякий случай снял ботинки, в отличие от прошлых, эти ему нравились, однако обстоятельства требовали жертв.

Платок с остатками странной паутины он вытащил двумя пальцами и сунул в ботинок.

Меж тем пламя отыграло и побелело, и белым оно гляделось ненастоящим. Не пламя – марево. Но стоило поднести руку, и жар ощущался, да такой, что, того и гляди, – вспыхнет не только попорченная паутиной трава, земля больная, но и камень конюшен.

– Лошади волнуются. – Яцек на огонь смотрел вполглаза.

– Что?

– Лошади, – повторил Яцек, отступая. – Волнуются. Слышишь?

Слышит. И нервное надсадное ржание, в котором слышится не то крик, не то плач. И грохот копыт по дощатым стенам денника. И сдавленный хрип...

В конюшне пахло кровью. Остро. И запах этот тягучий обволакивал.

– Стой, – велел Себастьян, но Яцек мотнул головой: не останется он на пороге, следом пойдет. И руку на палаш положил, с которым он, конечно, управляться умеет, да только не знает, что дуэли – это одно, а жизнь – совсем иное...

Темно.

Окна тут маленькие, круглые, под самой крышей.

И луна в них не заглядывает. А фонарь в руке Себастьяновой еле-еле дышит, керосину в нем капля осталась.

– Яцек...

– Я тебя одного не оставлю.

Вот же холера... упертый...

– Не оставляй. Сходи за керосином. Должен быть где-то там...

– А ты?

– А я тут постою.

– И не полезешь?

Дите дитем... такому и врать стыдно. Немного.

– Что я, дурень, в темень этакую лезть?

Дурень. Как есть дурень, потому что темнота живая... она прячет... кого?

Кого-то, кто пролил кровь.

...пусть это будет животное...

...кошка...

...или даже лошадь... лошадь, конечно, жаль, но... лошадь все ж не человек... пусть это будет всего лишь животное...

Яцек сопел. И значит, не отступит...

– Тут свечи есть, – сказал он наконец. – У дверей лежат.

– Неси.

Принес. Толстые сальные, перевязанные черной ниткой, с острыми фитилями и оплавленными боками. Свечи хранились в холстине, которую Яцек держал во второй руке, явно не зная, что с ней сделать: выкинуть или погодить.

– Дай сюда. – Себастьян нить разрезал когтем. – Держи в руке. Да оставь ты палаш в покое, тоже мне, грозный воитель выискался...

...и не поможет палаш.

...если вдруг Лихо, то не поможет... напротив, только хуже будет.

– Оставь его здесь, – попросил Себастьян.

– Но...

– Или оставь, или убирайся!

Все ж таки сорвался, не со зла, единственно – от страха, и за него, молодого, не способного поверить, что и молодые умирают. Небось кажется, вся жизнь впереди и ничего-то плохого с ним, Яцеком Вевельским, произойти не может... и за Лихо, с которым плохое уже произошло, а Себастьян сие пропустил.

Решил, что будто бы прошлогодние игры закончились.

Яцек прислонил палаш к деннику.

А лошади-то успокоились, не то устали бояться, не то почуяли людей. Груцают копытами по настилу, всхрапывают тревожно... и вздыхает кто-то совсем рядом, да так, что волосы на затылке шевелятся.

– Яцек, – Себастьян переложил свечу в левую руку, – ежели ты мне этак в шею дышать будешь, то вскоре одним братом у тебя меньше станет.

– Почему?

– Потому что сердце у меня не железное... а нервы и подавно.

Узкий проход. Темные двери с латунными табличками.

И отцовский Вулкан пытается просунуть морду сквозь прутья. В темноте глаза его влажно поблескивают, будто бы жеребец то ли плакал, то ли вот-вот заплачет...

...тяжеловоз Каштан бьет копытом по настилу. Мерно. Глухо.

И вновь звук искажается, мерещится, будто бы не Каштан это, но некто идет по Себастьянову следу, переступает коваными ногами. Догоняет.

Нервишки шалют.

Этак и сомлеть недолго, как оно нервической барышне подобает... а ведь говорил Евстафий Елисеевич, любимый начальник, что следует Себастьяну отпуск взять.

А все работа, работа... как ее оставишь, когда кажется, что никто-то другой с этою

работой и не управится... тщеславие все, тщеславие... боком выходит.

Запах крови сделался резким, на него желудок Себастьянов отозвался ноющей болью, а рот слюной переполнился. Пришлось сплевывать.

Некрасиво-то как...

– Чем это пахнет так? – поинтересовался Яцек и свечу поднял.

Бледное его лицо выглядело совсем уж детским, и пушок над верхней губой лишь подчеркивал эту самую детскость.

– Ничем. – Себастьян вытер рот рукавом. – Может, все-таки уйдешь?

– Хватит. Ушел уже один раз.

Вот ты ж...

Дверь в предпоследний денник была распахнута. И Себастьян вдруг вспомнил, что некогда в этом самом деннике держали толстого мерина, ленивого и благодушного...

...давно это было...

...тот мерин, соловый, вечно пребывающий в какой-то полудреме, давно уже помер небось...

– Не ори, ладно? – сказал Себастьян, и Яцек обиженно ответил:

– Я и не собирался.

– Вот и ладно...

Не было мерина, но была толстая коротконогая лошадка вороной масти. Лежала на боку, на соломе некогда золотистой, а ныне побуревшей.

– Лихо... – тихонько позвал Себастьян.

Разодранное горло. И на боку глубокие раны, их не сразу получается разглядеть, черное на черном... но Себастьян смотреть умеет, а потому подмечает и кровь спекшуюся, и толстых мясных мух, которые над лужей вились.

И сгорбленную тень в дальнем углу.

– Лишек, это я... Бес...

Он переступает порог, и под ногою влажно чавкает... кровь?

Не только...

Стоит наклониться, поднести свечу, и огонь отражается в глянцевом зеркале кровавой лужи...

Яцека стошнило.

Себастьян отметил это походя, с сожалением – теперь станет думать... всякое.

– Лишек, ты давно тут сидишь?

Над кровью поднимался белый пушок паутины. Легкие волоконца ее оплели мертвую лошадь, затянули глаза ее, будто третье веко.

– Лишек, я за тобой пришел, искал... а мне сказали, что ты исчез куда-то.

Тень вздрогнула.

– Н-не... н-не подходи...

– Как это не подойти? А обняться?

Лихослав бы сбежал, если бы было куда бежать.

– Я ж за тобой пришел.

– Ар-р-рестовать? – глухой голос, и рычащие ноты перекатываются на Лихославовом языке. Вот только рычание это Себастьяна не пугает, молчание – оно куда как страшней.

А раз заговорил, то и думать способен.

– За что тебя арестовывать?

Хорошо Яцек не лезет, сообразил держаться по ту сторону порога.

– Я... не помню. – Тень покачнулась и поднялась. – Я ничего не помню...

– Случается. Перебрал?

– Н-нет...

– Принимал что?

– Нет! – Резкий злой ответ, и тут же виноватое: – Извини... запах этот... мне от него дурно...

– Тогда выйдем.

Предложение это Лихославу не понравилось. Он стоял, покачиваясь, переваливаясь с ноги на ногу, не способный все ж решиться.

– Выйдем, выйдем. – Себастьян взял брата за руку.

Влажная. И липкая... в крови... да он весь, с головы до ног в крови...

– Я... – Лицо искаженное, а пальцы вцепились в серебряную ленту ошейника, не то пытаюсь избавиться от этакого украшения, не то, напротив, боясь, что оно вдруг исчезнет. – Я здесь... и лошадь... я ее?

И сам себе ответил:

– Я... кто еще... лошадь... хорошо, что лошадь, правда?

– Замечательно. – Себастьян старался дышать ртом.

Запах дурманил. Отуплял. И надо выбирать, а там уже, вне конюшен, Себастьян подумает... обо всем хорошенько подумает. А подумать есть над чем.

– И плохо... я не должен был убивать... я не должен был оставаться среди людей... ошибка, которую...

– Которую кому-то очень хочется исправить.

– Что?

Яцек держался позади безмолвной тенью. И только когда до двери дошли, он скользнул вперед:

– Погодите, я гляну, чтобы... нехорошо, если его таким увидят.

Правильно. Слухи пойдут, а вкупе с убийством, то и не слухи...

Отсутствовал Яцек недолго, вернулся без свечей, но и ладно, лунного света хватало.

Белое пламя уже погасло, оставив круг темной спекшейся земли, будто и не земли даже, но живой корки над раной. Лихо дернулся было, зарычал глухо.

– Что чувствуешь?

– Тьму...

Глаза его позеленели, и клыки появились, впрочем, исчезли так же быстро.

– Там это... бочка с водой... и корыто... он грязный весь. – Яцек переминался с ноги на ногу. – И... может, мне одежды принести? В доме осталась старая...

– Принеси, – согласился Себастьян.

И младший исчез.

А неплохой парень, как-то жаль, что раньше не случилось встретиться нормально. И в том не Яцекова вина...

– Лихо ты... бестолковое. – Себастьян не отказал себе в удовольствии макнуть братца в корыто с водой. Тот не сопротивлялся, хотя водица и была прохладной, а корыто – не особо чистым. – Раздевайся давай... хотя нет, погоди. Покажи руки.

Лихослав молча повиновался.

– Рассказывай.

– Нечего. Рассказывать. – Он говорил осторожно, еще не до конца уверенный в том, что способен говорить.

– Как ты здесь оказался?

– Не помню.

Он вновь нырнул под воду и стоял так долго, Себастьян даже беспокоиться начал, мало ли, вдруг да братец в порыве раскаяния, которое, как Себастьян подозревал, было несколько поспешным, утопнуть решил? Но Лихо вынырнул, отряхнулся и с немалым раздражением содрал окровавленный китель.

– Что помнишь?

– Ужин помню. Потом... потом мы перешли в курительную комнату... с Велеславом говорил.

– О чем?

Лихослав нахмурился, покачал головой:

– Он чего-то хотел...

– Денег?

– Наверное... или просил помочь... точно, просил помочь...

– В чем?

– Не знаю! – Лихо стиснул голову руками и пожаловался: – Она зовет... тянет... и с каждым днем все сильнее... я иногда... как проваливаюсь. Однажды на улице очнулся... а как попал... как пришел? И еще раз так было...

– Евдокия знает?

– Нет.

– Зря.

– Нет, – жестче повторил Лихослав. – Это... моя беда. Я с ней разберусь... наверное.

– В монастыре? – Себастьян присел на край корыта.

– Это был не самый худший вариант... если бы я ушел, то...

– Велеслав очень бы порадовался. А уж супруга его вовсе вне себя от счастья была б.

Лихо вздохнул:

– Я не хочу быть князем.

– Понимаю. И в чем-то разделяю, но... дело не в том, что ты не хочешь. Дело в том, что он хочет. До того хочет, что пойдет на все.

– Лошадь убил не он.

– Да неужели! Ты помнишь, как ее убивал?

– Нет.

– Тогда с чего такая уверенность?

Лихо молча сунул палец под ошейник.

– Именно... он на тебе, поэтому обернуться ты не мог. – Себастьян заложил руки за спину. Теперь, когда отступили и вонь, и дурнота, и беспокойство, думалось не в пример легче. – Я понимаю, что ты у нас – создание ответственное, родственной любовью пронизанное до самых пяток, только... Лихо, да пойми ж ты наконец, что родственник родственнику рознь!

Понимать что-либо в данный конкретный момент Лихо отказывался.

Он вновь окунулся в корыто, а вынырнув, содрал рубашку. Прополоскав ее – на белой ткани остались розовые разводы, – Лихо принялся тереть шею, руки, грудь, смывая засохшую кровь.

– А теперь давай мыслить здраво...

– Давай, – согласился Лихослав, отжимая волосы. – Я – волкодлак...

– У всех свои недостатки... и вообще, ты не с того начинаешь. Итак, ты пришел на семейный ужин... поужинал, надо полагать, неплохо? Ты голоден?

Лихо покачал головой.

– Вот... ты не голоден... заметь. Далее ты имел беседу с Велеславом, после которой у тебя напрочь отшибло память. И ты оказался у конюшен, где на тебя, маловменяемого, и натолкнулся Яцек.

– Он...

– Он хотел тебе помочь, но тут же объявился Велеслав, который заявил, что ты у нас любитель серого порошка.

– Что? – У Лихо от возмущения рубашка из рук выпала, плюхнулась на траву влажным комом. – Я не...

– Верю. И не только верю... Видишь ли, Лишек, мне по работе доводилось сталкиваться с любителями серого порошка... и вот если поначалу они от обыкновенных людей неотличимы, то со временем у них на руках проступают вены... и не только проступают, черными становятся.

– Ты поэтому на руки смотрел?

– Поэтому, – согласился Себастьян. – А еще потому, что рубашка у тебя хорошая... была.

Он поддел влажный ком носком сапога.

– Манжеты узкие... на запонках... кстати, запонки подбери, небось не дешевые... и главное, что на месте, и запонки, и манжеты целые... и мундир твой... а в тот раз, когда тебе обернуться случилось, от одежды одни лохмотья остались.

Лихослав, склонившись к самой земле, перебирал травинки.

– Значит, ты не оборачивался...

– Или оборачивался, но не полностью...

– Руки все одно изменились бы... а рубашка целая... нет, Лишек, ты не оборачивался... и отсюда вопрос. Как ты эту лошадь убил?

– Загрыз? – без особой, впрочем, уверенности, предположил Лихослав.

– Загрыз... зубами и в горло... очень по-волкодлачьи.

– Издеваешься?

– Пытаюсь представить.

Себастьян сцепил за спиной большие пальцы.

– Темная-темная ночь... зловещая такая... хотя нет, луна же ж светит... Как там писала одна моя знакомая, зыбкий ея свет проникает сквозь... в общем сквозь куда-то там да проникает. И князь-волкодлак на цыпочках крадется к лошади.

– Почему на цыпочках?

Лихослав аж приподнялся.

– Для полноты образа и пущей зловещести.

– Я в сапогах!

– Это твои проблемы. В сапогах аль нет, но злодей обязан красться на цыпочках... а вообще, дорогой мой братец, я что-то в этой жизни упустил или ныне принято на семейные ужины по форме являться?

– Отец просил.

– Интересно... – Себастьян принялся расхаживать, притом что шаги он делал

неестественно широкие, от бедра. Дойдя до угла конюшни, он развернулся. – И чем мотивировал? Любовью к форме?

– Почти. – Лихо сумел улыбнуться, пусть улыбка и вышла кривоватой. – Сказал, что ему приятно будет осознавать, что...

– Ясно, – махнул рукой Себ. – Итак... в сапогах и на цыпочках ты крадешься к конюшне... Кстати, Яцек ушел, а куда подевался Велеслав?

– Ты у меня спрашиваешь?

– Я думаю.

– Как-то ты громко думаешь. – Лихо все-таки нашел запонку, которую подбросил на ладони.

– Как уж получается... Допустим, он не захотел вести тебя в дом... И почему к лошадям? Бочка-то у левой конюшни стоит... и логичней, проще отвести тебя туда. Дать отсидеться, отойти... а он потащил к конюшням...

– А если так и было? Если он меня оставил...

– Ага, ненадолго. Сам отошел по великой надобности... карты стыли. Или коньяк... и вообще, не его это забота – тебя сторожить... Лихо, да очнись ты уже! Велеслав тебя тихо ненавидит. Он все ждал, когда ж ты уйдешь к богам, а ты, паскудина этакая, не ушел, а вернуться соизволил... и венец отцовский из-под носу увел... Не жди от него добра!

Наверное, Себастьян был прав.

Скорее всего, Себастьян был прав.

И сквозь туман в голове, густой, сероватый, характерного жемчужного отлива, какой бывает только над клятыми болотами, Лихо эту правоту осознавал.

Но просто взять и поверить...

Нет, с Велеславом никогда-то не получалось особой дружбы. Приятельствовали – это да... и письма он писал длинные, в которых делился всем...

...жаловался.

...в основном на то, что денег нет, а каков улан без родительского золочения? И смеются над ним... и выслужиться не дают.

В тумане думалось тяжело, и сами мысли, им рожденные, были гнилыми, а потому Лихо оставил их. Лучше Беса послушает... Бес небось знает, о чем говорит.

– Ладно, оставил он тебя на сеновале и ушел... а тебе вдруг захотелось крови. Да так вперло, что прямо не вмоготу было ждать... и вышел ты, обуянный этой жаждой, из тьмы во лунный свет...

– Бес!

– Что?

– А ты не мог бы... ну, нормально говорить?

– Это как? – поинтересовался Себастьян и голову набок склонил, черные глаза блеснули, точь-в-точь как у того ворона, что повадился к дому летать.

Ворон садился на окно спальни и сидел смирнехонько, всем видом своим показывая, что вовсе не желает беспокоить занятых людей, что он, ворон, птица разумная, с пониманием, не чета суматошным галкам или, простите боги, воронам... и лишь когда люди сами вставали, он приветствовал их вежливым стуком в окно.

Евдокия держала на подоконнике плоску с кусками вяленого мяса. И ворон принимал эти куски из рук, аккуратно, точно зная, что клюв его остер и опасен, а Евдокиины пальцы тонки.

– Не знаю... без этого... твоего...

Ворон кланялся. И улыбался, хоть бы и казалось, что на улыбку вороны не способны... А если и эта птица неспроста появилась? А и вправду, откуда бы ворону в городе взяться?

Ведьмакова птица.

Или колдовкина.

На Серых землях вороны селились стаями. И стоило их потревожить, поднимались на крыло. Молча... и небо, низкое, свинцовое, полнили медлительные тени.

Вороны кружили. Порой спускались низко, будто дразнясь, норовя мазнуть крылом по конской голове... или, зависнув на мгновение, раззявить клюв, и тогда становился виден тонкий птичий язык, весьма похожий на червя...

– Без этого, как ты выразился, моего жизнь, дорогой братец, делается вовсе невыносима. – Себастьян погладил бугристую стену. – Потому продолжим... Ты у нас там крадешься... крадешься...

– На цыпочках.

– А то... зловеще позвякивая шпорами.

– Шпоры не взял.

– Упущеньице... ладно, зловеще клацаая клыками... и прокрадываешься на конюшню... что там тебя ведет?

– Голод?

– Нет, Лихо, мы выяснили, что за семейным ужином тебя неплохо накормили... знать бы еще, чем именно... но таки не голод.

– Жажда крови.

– Точно! – Себастьян поднял тощий палец. – Неумная жажда крови, которая затмила твой благородный разум...

– Почему благородный?

– Не придирайся. Просто разум не звучит... Итак, жажда толкает тебя на преступление... Но скажи, Лишек, чего ты в такую-то даль поперся? Чего не выбрал первую же лошадь...

Лихо задумался.

Первая... огромный битюг по кличке Качай, купленный по случаю... не для городского дома он, для поместья, где его силе найдется применение.

– Побоялся, что не справлюсь?

– Допустим... то есть способность думать ты сохранил?

– И волки выбирают себе добычу по силе...

– А вот тут, Лишек, я и поспорить могу... нормальный волк, да, не ползет туда, где ему хвост прищемить могут. Но бешеный... бешеному все равно, кто перед ним. Ладно, допустим, эту коняшку ты решил не трогать... Следующая чем не угодила?

Аккуратная кобыла, взятая на племя...

– Не знаю...

– И я не знаю... и главное, заметь, убил ты не просто коняшку, а думаю, самую неказистую... такую, которой не жаль было... Экие ныне волкодлаки хозяйственные пошли.

– Издеваешься, – констатировал факт Лихо.

Себастьян молча развел руками: мол, он не виноват, природа такая.

– То есть... – Лихо зачерпнул затхлую воду, которая ныне пахла кровью, и сладковатый этот аромат дурманил. Лихо подносил ладони к носу, вдыхал его, позволяя воде спокойно

течь сквозь пальцы.

Не пробовал.

Боги ведали, чего ему стоило удержаться... а еще и луна зовет, манит в дорогу... его, Лихо, ждут... там, за краем мира, где небо смыкается с землей. Где неба вовсе нет, оно серое и гладкое, что начищенный до блеска серебряный поднос.

В том краю обещали покой.

Нет нужды прятаться. Таиться.

Притворяться человеком. И всего-то надобно что снять ошейник... по какому праву его вовсе на Лихо нацепили... люди... думают, что имеют право...

...их право – быть добычей.

Прятаться в страхе, заслышав голоса Зимней охоты...

...их право – лить кровь, поить ею землю... и плотью своей питать тех, кто стоит несоизмеримо выше.

Луна, отраженная в корыте, насмеялась над Лихо, который, дурень, решил, что будто бы сумеет остаться человеком. И он ударил по этой луне, такой обманчиво близкой, кулаком.

– То есть, – повторил Лихо, поражаясь тому, до чего неразборчива стала его речь, – ты полагаешь, что Велеслав... нарочно?

– Ну не нечаянно, это факт... вот только не он один...

– Надо поговорить.

Луна, та, водяная, исчезла. А другая, светило небесное, на небе и осталась. Выпялилась. И клокочет, хохочет в крови далекий смех ее. Мол, и вправду решил, Лихо-волкодлак, что луну одолеешь?

– Надо... – Себастьян будто бы очнулся. – Но не теперь.

– Почему?

– Потому что предъявить ему нечего... он все так повернет, что ты виноватым будешь...

Туман отступал.

И голос в крови становился все тише и тише. Еще немного, и к Лихо вернется разум, верней, те его крохи, которые еще позволяют ему оставаться человеком.

Какое нелепое для нежити желание.

– Чего он добивался? – Лихослав вытер руки о жесткую траву.

– Думаю, того, чтобы ты очнулся там... и решил, будто загрыз несчастную коняшку... проникся чувством вины и ушел в монастырь... Я надеюсь, что только на это.

Себастьянов хвост раздраженно щелкнул, а после обвился вокруг ноги.

И значит, все не так уж просто, как хочется старшему братцу.

– Договаривай...

– В городе объявился волкодлак...

Луна на небе ухмыльнулась особенно широко: вот так, Лихо... а ты наивно полагал, будто бы мертвая лошадь – самая большая твоя беда?

– Когда?

– Вчера убил... Лихо, будь так добр, успокой меня... где ты провел вчерашнюю ночь?

– В клабе...

– И видели тебя...

– Видели.

– Вот умница моя. – Себастьян погладил брата по мокрой голове. – Только с каких это пор ты стал по клабам ночевать...

Лихослав поморщился: эта тема была ему неприятна, однако же Бес не отцепится, пока не докопается до правды.

Или до того, что можно было выдать за правду.

– Отец вновь проигрался... расписки давал...

– Много?

– Полторы тысячи злотней...

Себастьян присвистнул:

– Он неисправим... И ты поперся расписки выкупать?

– Вроде того... – Лихо вдруг понял, что замерз. Странно, ночь-то теплая, летняя, а он дрожит мелкою дрожью, и зуб на зуб не попадает.

От этого холода так просто не избавиться. Кровь поможет. Горячая, человеческая...

Себастьянова... он рядом, и сердце его громко стучит.

Лихо слышит. Лихо видит... и горло белое с острым кадыком... и натянутые до предела жилы... рвани такую, и рот наполнится горячей солонатовой кровью.

Лихо ведь помнит вкус ее... и холод уйдет, надолго уйдет...

– Отойди, – попросил Лихослав сквозь стиснутые зубы. – Пожалуйста...

Себастьян отступил. На шаг. И еще на один. И лучше бы ему вовсе убраться... в дом... правильно, в дом – оно надежней. Лихо не станет убивать своего брата.

Никого убивать не станет.

– Отец... проигрался... барону Бржимеку... Знаешь его?

Себастьян кивнул.

Надо думать не о нем, но о бароне... Витовт Бржимек... На гербе – вепрь с оливковой ветвью. На вепря барон и похож. Коренастый. Короткошей. И с лицом квадратным, с щеками темными.

Он бреется трижды в день, но щетина все одно растет быстро.

Говорят, что некогда все семейство прокляли... Щетина – это такая мелочь... у барона крохотные глаза, сидящие близко к переносице. Красные. И оттого кажется, будто Бржимек вечно пребывает в раздражении.

– Проигрался... и не нашел ничего лучше, как заявить, что игра была нечестной... он выпивши был.

Себастьян тяжело вздохнул и сел рядом.

Земля же мокрая... и грязная... и он все равно изгваздал белый свой костюм, когда Лихо выводил. И теперь, локоток отставивший, с видом в высшей степени задумчивым, ковыряет кровавое пятно.

– Лихо... вот за что нам такое наказание?

Лихо пожал плечами.

Холод отступал. И не понадобилась кровь, чтобы согреться, хватило и тепла, того самого, человеческого, которое ощущалось сквозь ткань пиджака. А Бес пиджак стащил.

– На вот... а то еще околеешь... И где это Яцека носит?

Лихослав не знал.

От пиджака пахло анисовыми карамельками и еще, кажется, касторовым маслом.

– А ты рассказывай, чего замолчал...

Кое-что рассказать Лихо мог. И до чего было бы проще, если бы ему разрешили рассказать все.

– Так... повздорили они с Бржимеком... и тот грозился, что по распискам этим через

суд долги стребует... только не сейчас, а попозже... когда их побольше наберется... ты же отца знаешь... он решил, что раз есть деньги, то можно и жить по старому порядку...

– И ты всю ночь с бароном...

– Он поначалу со мной и говорить не хотел. Пришлось пить...

– Много?

Лихо кивнул и поморщился: пить он не любил. Опасался.

– И где пили?

– Да в кабаке и пили...

– Значит, помимо Бржимека найдутся люди, которые подтвердят, что ты там был...

очень хорошо...

Себастьян почесал подбородок.

– А жене почему соврал?

– Да как-то... – Лихо покосился на луну, которая так и висела, точно к небу приклеенная.

Слушала. Подслушивала.

– Стыдно было... что он такой... она ж еще тогда старые долговые расписки повыкупила... а он снова...

– Дурень.

– Кто?

– Оба, Лишек, оба... он, видать, от природы. А ты – от избытку совести... – Себастьян повернулся и постучал пальцами по лбу Лихослава. – Вот скажи, мой любезный братец, чего должна была подумать твоя женушка, когда ты ночевать домой не явился...

– Я сказал, что...

– В поместье отправляешься... ну да, на ночь глядя отправился, а утречком рано вернулся. Чего ездил? Не понять... она ж не дура. Она понимает, что ты врешь. Вот только не понимает, в чем врешь. И значит, придумает себе то, что за правду примет. А главное, что потом ты ее не переубедишь...

Шаги Яцека Лихо издалека услышал. Быстрые. Торопливые даже. Яцек спешил и порой сбивался на бег, но тотчас вспоминал, что человеку его возраста и положения подобало не спешить, приличия соблюдая.

– Братец, – Себастьян поднялся первым и руку подал, – тебя только за смертью и посылать...

– Там это...

Яцек выглядел растерянным. И встрепанным.

– Там...

Себастьян забрал сверток, в котором обнаружилась собственная Яцекова рубашка, которая Лихославу была безбожно мала, некий широкий и мешковатый пиджак с крупными перламутровыми пуговицами, а еще зачем-то кальсоны с начесом.

– Яцек, Яцек... – Себастьян поднял кальсоны двумя пальцами. – Старания в тебе много, а вот ума пока не хватает... но ничего, это дело наживное... Так чего там?

– Отец велел панну Евдокию из дому выставить и назад не пускать...

– Что?

В глазах потемнело.

Лихослав раньше не понимал, как это, чтобы потемнело... оказалось – просто. Пелена на глаза, темная, за которой ничего-то не видно.

Собственный пульс в ушах гремит. А в голове одно желание – вцепиться в глотку...

– Спокойно, Лишек... на вот, пиджачок примерь... – Бес сунул упомянутый пиджак в руки. – И угомонись... отомстить мы всегда успеем. В конце концов, Яцек мог недослышать... или сказать не так.

– Я так сказал! – возмутился Яцек, обиженный до глубины души. – Панна Евдокия обозвала панну Богуславу колдовкой... а та Евдокию – купчихой и... и нехорошей женщиной... и потом оказалось, что у панны Евдокии с собою револьвер имеется. И значит, она Богуславе грозилась, что без суда ее пристрелит серебряною пулей... а потом голову отрежет и чесноку в рот натолкает. Рубленого.

– Сам слышал?

Яцек покачал головой.

– Катарина сказала...

– Катарина тебе еще не то скажет...

– Панна Богуслава от волнения в обморок упала... а панна Евдокия стреляла и люстру попортила...

– Стреляла, значит...

– Я пришел, когда отец кричал на нее... и я решил, что лучше бы ей там не оставаться.

– Это правильно.

– А она уезжать одна не желает... и велел я экипаж заложить...

– Очень интересно.

– Так не пешком же...

– Я его...

– Лишек, сейчас ты пойдешь к жене и выяснишь, чего случилось... заодно и поговорите по душам. А я... я с бабушкой нашим побеседую. Есть у меня одна интересная мыслишка...

Глава 6, в которой речь идет о новых неожиданных знакомствах и о вреде поздних прогулок

Дураков каких мало оказывается-то много!

*Неприятное жизненное открытие, совершенное паном Н.,
поставленным руководить писарским отделом судейской
канцелярии Краковеля*

Аврелий Яковлевич здание Королевского театра покинул в числе последних зрителей. Вот не любил он толпы, сутолоки, которая случалась сразу по окончании спектакля, а потому предпочитал выждать, когда обезлюдеет мраморное фойе.

Была в этом своя романтика.

И опустевшая сцена гляделась брошенной. Медленно угасали газовые рожки, и на зрительный зал опускалась тень. Порой Аврелий Яковлевич видел ее огромною птицей с серыми пропыленными крыльями. Она свивала гнездо под самым куполом, среди поблекших нимф и печальных кентавров, чьи лики были почти неразличимы по-за ярким светом новомодных эдиссоновских люстр.

Птица боялась шума. И сторонилась людей. Она взирала на них сверху вниз с любопытством и недоумением, весьма Аврелию Яковлевичу понятным.

Нет, он отдавал себе отчет, что никаких таких теней, во всяком случае тех, которые бы проходили по полицейскому аль ведьмачьему ведомству, в театре не обреталось, однако же именно здесь не мог отказать себе в удовольствии представить, будто бы...

...не сегодня.

Сегодняшняя опера не принесла и малой толики обычного удовольствия.

Тревожно. И тревога не отпускала ни на мгновение.

И оттого рисованными казались лица актрисок, а в голосе несравненной панны Ягумовской слышалось дребезжание... и страсти-то, страсти наигранные... ненастоящие страсти...

Аврелий Яковлевич вздохнул и поднялся.

Нет, ежели бы он захотел, шубу его принесли бы прямо в ложу, подали бы с поклоном, однако же по давней традиции Аврелий Яковлевич предпочитал в гардеробную спускаться сам.

Традиций же он рушить не любил.

Театральные ступени скрипели.

А тень кралась следом.

Она была столь любезна, что проводила до широкого фойе и кланялась вместо лакея, шубу подавшего, низко, искренне. Тень легла, прочертив путь до дверей, проводила бы и дальше, но ей, привыкшей к театральным пустотам, к миру, вычерченному на льняном полотне да деревянных щитах, было боязно. И Аврелий Яковлевич в этом тень понимал.

– Сам я, – сказал он, махнув рукой, и она с немалым облегчением истаяла.

Почудился тяжкий вздох: театр, в отличие от людей, Аврелия Яковлевича очень даже

жаловал за сердечную чуткость и понимание.

Аврелий Яковлевич тоже вздохнул, но совсем по иной причине.

Прохладно.

Лето уже вспыхнуло, того и гляди, разгорится костром бесстыдного червеньского солнца, а все одно прохладно... и луна вновь полная, что вовсе не порядок, поелику приличной луне в теле надлежит быть день-другой, не более. Эта же знай прибавляет, круглеет, будто и впрямь не луна – апельсина на ветке. Или глаз чей-то желтый, насмешливый.

– Вот тебе, – сказал Аврелий Яковлевич, поплотней запахнув шубу, из кротовых шкурок шитую. И совершенно по-детски скрутил ночному светилу кукиш. – Уходи. Буде уже...

Почудилось, луна мигнула...

От же ж...

Почудилось... конечно, почудилось...

Аврелий Яковлевич взмахом руки отпустил извозчика, и тот с непонятной прытью хлестанул по спинам лошадей, точно в облегчение ему было уехать поскорей от театра.

Странно...

Аврелий Яковлевич перехватил поудобней трость.

Что ж... ночь, луна... самое подходящее время для прогулок в парке. Благо до него было недалече. И гулять он любил, особенно по ночному часу, когда и воздух свежий, да и сам парк избавлен от людского присутствия... Не то чтобы люди Аврелию Яковлевичу вовсе были не симпатичны, нет, под настроение он к ним проникался то сочувствием, то вовсе жалостью, но вот жалеть предпочитал на расстоянии. Оно, расстояние, избавляло Аврелия Яковлевича и от докучливых бесед, от лживых заверений в том, что-де нынешняя встреча, несомненно случайная, ниспослана богами... и что боги желают, дабы Аврелий Яковлевич, отказавшись от дел иных, немедля проникся к новому знакомцу расположением и взял на себя все его беды... или же не к знакомцу, но к знакомой, которая лепетала, бледнела, краснела и норовила спрятаться за маменькиными юбками, верно не полагая престарелого ведьмака хорошей партией.

Ночной парк был свободен.

От собак и лакеев, от детей с няньками да гувернантками, от дам и кавалеров, немочных девиц и компаньенок в серых скучных нарядах, от торговцев и торговок, уличных актеров, вечно пьяного шарманщика, который устраивался у фонтанов и к вечеру засыпал, обняв короб шарманки.

Ночной парк дышал горячим камнем.

И расправлял примятую траву. Он раскрывал белесые глаза бутонов, и резковатый аромат чубушника вытеснял чуждые запахи... кусты ныне цвели буйно. И Аврелий Яковлевич ступал по мощеной дорожке неспешно, получая от такого позднего променаду немалое удовольствие. У фонтана он остановился, стянул перчатку и сунул пальцы в теплую воду.

Каждый год в фонтан, на радость детям и чувствительным к очарованию парка барышням, выпускали золотых рыбок. И тут же торговали мотылем. К серпню рыбки отъедались, делались ленивы и толсты. Они переставали бояться людей, а порой и вовсе наглели, подплывали к краю, разевали толстогубые некрасивые рты, будто бы ругаясь...

...нынешние скрылись врыхлом иле, что успел покрыть дно мраморное чаши. Вода была теплой, застоявшейся, с гниловатым душком.

Аврелий Яковлевич стряхнул капли с руки, кое-как отер пальцы перчаткой и обернулся. Моргнул.

Сзади, шагах в трех от фонтана стоял человек.

Аврелий Яковлевич моргнул, надеясь, что примерещилось ему. Но человек не исчез, как положено приличному мороку. Стоял он спокойно, позволяя себя разглядеть, и место, признаться, выбрал удачное, под самым фонарем, каковой разнообразия ради горел ярко.

Человек был... странен?

Пожалуй.

Невысокий. Сутуловатый.

В пальтеце из серого сукна. Дрянное, шитое по кривым лекалам, оно было изрядно заношено. Аврелий Яковлевич отметил и крупные костяные пуговицы, через одну треснутые, а то и вовсе обломанные, и широкий пояс, и кривовато обрезанные полы. Ниже пальтеца виднелись колени, крупные и узловатые, а еще ниже – тощие голени, поросшие черным густым волосом. На них красными ниточками выделялись подвязки. Некогда белые носки успели изрядно утратить белизну, а в левом виднелась дыра, из которой выглядывал большой палец.

– Чем могу помочь? – поинтересовался Аврелий Яковлевич, перекладывая тросточку в левую руку.

Левой – оно всегда бить сподручней.

Ежели тросточкой.

С правой и зашибить недолго...

– Возьмите меня! – неожиданно заговорил человек и руку из кармана пальтеца вытащил.

– Куда?

– К себе...

– Зачем?

Аврелий Яковлевич пошевелил плечами, и шуба покорно сползла наземь. Вымокнет, конечно, но лучше так, чем продранную чинить.

Ночной же гость сделал шаг. Ступал он осторожно, по-балетному вытягивая ногу и ставя ее на носок, а после уже и вес тела на нее переносил. И смотрелось сие престранно.

– Я хочу нести добро людям, – доверчиво произнес незнакомец.

А ведь молодой совсем. Дикий. Взъерошенный... масти не пойми какой, не рыжий, не черный и не блондин, но будто всего сразу понамешали. И волосы дыбом стоят. Лицо узенькое, некрасивое. Нос крупный, лоб тяжелый. И уши оттопыриваются.

– Так, мил-человек, разве ж я мешаю?

А вот при всей своей неказистости ступал незнакомец мягко, под ногой ни песчинки не шелохнулось.

– Бери свое добро и неси...

Аврелий Яковлевич посторонился, прикинув, что по голове этакое и бить боязно, небось косточки птичьи, тоненькие... этак силушку не считаешь, а после, ежели выйдет ошибочка, до конца дней грех нечаянный отмаливать станешь.

– Гавриил я. – Он остановился и сунул руку в карман пальтеца.

– Аврелий Яковлевич.

– Я знаю... я следил за вами, – признался он с неловкою улыбкой. – Я... хотел поговорить. Я все о вас знаю!

– Да неужто?

Аврелий Яковлевич подивился: он и сам-то о себе знал далеко не все, а тут вдруг...

– Я читал! Вот! – Гавриил вытащил из кармана смятую газетенку. – Я читал...

Газетенку Аврелий Яковлевич узнал. Крякнул только.

Вот же... привела нелегкая... год уж минул, а те статейки аукаются... и главное, что людишки-то в глаза улыбаются, мол, не поверили ни слову, а за спиною только и говорят. И ведь не сказать, чтоб разговоры их сильно Аврелия Яковлевича тревожили, не было дела ему ни до людишек, ни до любви их к сплетням, но поди ж ты...

– Дружочек, – Аврелий Яковлевич тросточкой в газетенку ткнул, – шел бы ты домой... и не верил всему, что в газетах пишут...

Гавриил покачал головой.

Не волкодлак, значит, а еще один безумец, которому втемяшилось странное.

– Я не хочу домой.

– А куда ж ты хочешь? – С безумцами Аврелий Яковлевич не очень хорошо умел ладить, у него и с нормальными-то людьми не всегда получалось. А блаженные – существа иные, тонко чувствующие, им чего не так скажешь, и вовсе остатки разума утратят.

Потому и решил он не перечить...

– В ведьмаки хочу...

– Ну, дорогой, это не так и просто... тут дар нужен... сила... и коль ее нет, то и я ничего-то не сделаю...

Гавриил газетку погладил и к груди прижал.

– Скажите, – со вздохом произнес он, – только честно. Я красивый?

– Очень, – не мигнув глазом, солгал Аврелий Яковлевич.

Ежели ложь во благо, боги простят.

– И я вам нравлюсь? – Гавриил склонил голову набок, и кончик длинного его носа дернулся.

– Нравишься.

– Тогда хорошо. – Гавриил почесал одной ногой другую. – Тогда у нас все получится.

– Что получится?

На всякий случай Аврелий Яковлевич сделал еще один шаг назад. Правда, тут стало ясно, что отступать ему более некуда – за спиной фонтан во всем его королевском великолепии.

Стоит чаша-дура перевернутым черепашьим панцирем, а из нее позеленевшей горой вырастает раковина вида преудивительного, на которую уже взгромоздился Водяной царь, ликом своим весьма Канделю Благословенному подобный, правда, статей куда как более впечатляющих.

– Все! – сказал Гавриил и руки на поясок пальтеца положил. – Вы и я... мы вместе понесем людям добро...

– Помилуйте, молодой человек, ну сами подумайте, ежели мы да с вами... да понесем... – Аврелий Яковлевич начал злиться, он уже искренне жалел, что встреченный им человек вовсе не волкодлак. Небось с волкодлаком было бы куда как проще.

Тросточкою да промеж глаз... да проклятьицем в зубы... или наоборот.

– Куда людям столько добра-то?

Гавриил нисколько не смутился, но наставительно произнес:

– Добро лишним не бывает!

С этим утверждением Аврелий Яковлевич мог бы и поспорить: бывает, еще как бывает,

особенно ежели добро чужое... за чужое добро, анонимными добродееями принесенное, по совокупности до восьми лет каторги получить можно-с.

– Послушай, дорогой мой человек, – ведьмак со вздохом трость опустил, во избежание искушения членовредительства, – не знаю, чего там ты в этой пакостливой газетенке вычитал, но, коли хочешь стать ведьмаком, пиши заявление, плати в кассу пять сребней да жди, когда на освидетельствование вызовут. А ежели денег нет...

– Есть у меня деньги!

– Вот и ладно... вот и молодец...

– И освидетельствовался я уже... – Гавриилов палец, который выглядывал из драного носка, зашевелился. – Сказали, что нету у меня дара... нулевой потенциал...

Сказал и вздохнул горестно.

– Помогите!

– Чем?!

– Сделайте меня ведьмаком! Я знаю, вы можете! В газетах писали...

– В них намедни писали, что конец света, того и гляди, начнется...

Гавриил не услышал. Он рванул пояс, который от такого неуважительного обращения затрещал и порвался, однако Гавриилу не было дела до такой мелочи.

Решалась его судьба.

Он ведь читал... нет, газетам случалось врать аль преувеличивать, однако же гишторию некоего Г., который из полубовников Аврелия Яковлевича в ведьмаки выбился, они излагали с такими подробностями...

И Гавриил сам расследование проводил.

В Гданьск наведывался, в гостиницу коронную, где и беседовал сначала с неуживчивым управляющим, каковой велел Гавриила гнать, заподозривши в нем еще одного жадного до сенсаций крысятника, а после с коридорным, куда как более ласковым.

Он Гавриила выслушал.

И рассказал, как оно было, и про номер, где на паркете огненные письма месяца не сходили, а запах серы и вовсе всю мебель пропитал, оттого и пришлось ремонт делать. И про торт, и про баню, и про иные чудеса, свидетелем которых случалось быть... если и привирал, то немного.

А значит, имелся тайный способ!

– Возьмите меня! – Гавриил, преисполнившись решимости – за-ради светлой мечты всеобщего блага он готов был пожертвовать собой, и не только собой, – распахнул полы плащика. – В ведьмаки! Я хороший...

Аврелий Яковлевич крикнул и отвел взгляд.

Нет, в жизни ему случалось повидать всякого... особенно опосля тех пасквильных статей, которым «Охальник» опровержение дал, но как-то стыдливо, неуверенно, а потому вышло лишь хуже – все разом вдруг уверились, что Аврелий Яковлевич именно тем и занимался, о чем в статейках писано.

Двери старого клаба не открылись.

Зато однажды в черном конверте, розовой ленточкой перетянутом, появилось приглашение вступить в тайное сообщество содомитов почетным членом. Аврелий Яковлевич конвертик спалил с немалым удовольствием, радуясь, что Лукьяшка при всем его любопытстве не имеет обыкновения нос совать в почту ведьмакову... Но приглашение приглашением, содомиты содомитами... и томные юноши, которые взяли за обыкновение

появляться на ведьмаковом пути в тайной надежде устроить собственное бытие хоть и не законным браком, да методой обычно дамскою, вели себя прилично.

А этот...

Плащ повис тряпичными крылами, и драная подкладка его лоснилась в свете фонаря.

Гавриил был худым. Жилистым. И каким-то несуразным. Его бочкообразная грудь густо поросла курчавым волосом, а впалый живот, напротив, был лыс, и белые шрамы на нем гляделись своеобразным узором.

Сероватая шкура Гавриила от холода пошла гусиной сыпью и натянулась на острых костях до предела. Одно неловкое движение, и прорвется она...

– Угрожаешь? – осведомился Аврелий Яковлевич.

– А говорили, я вам нравлюсь. – Гавриил переминался с ноги на ногу, втайне уже понимая, что замысел его, казавшийся великолепным, не удался.

А ведь по книге делал.

И неожиданная встреча... и предельная откровенность, которая по мнению некоего пана Зусека, которого в лавке весьма нахваливали – книги его пользовались небывалым спросом, – должна была расположить сердце особы капризное к просителю. Не помогли и особые духи с вытяжкой из яичек химеры, которые должны были бы пробудить влечение, а ведь за них Гавриил золотом платил. Или надо было брать другие? «Ночную страсть», которая с железами бобра... но сказали же, что бобер – вчерашний день, вот химера – дело иное...

– Прикройся, болезный. – Аврелий Яковлевич переносицу почесал. – А то девок пугать нечем будет. – И на всякий случай, убеждения ради, добавил: – А то проклянну.

Гавриил плащ запахнул, потому как и вправду было прохладно, а снизу так еще и поддувало, и шелковые трусы романтического красного колеру не спасали.

– Всех не проклянете, – сказал он, потому как замечательная книга пана Зусека рекомендовала в любой ситуации сохранять чувство собственного достоинства.

– Это смотря как постараться...

Ведьмак хотел добавить еще что-то, однако же его перебил тоскливый вой. Он раздавался где-то совсем близенько, конечно, не настолько близенько, чтоб сразу за нож хвататься, благо в плащике имелись карманы, куда Гавриил и сложил все необходимое, включая не только нож, но и книгу с советами, склянку с остатками духов и два носовых платочка. Чистых.

[Купить полную версию книги](#)